

Минский международный образовательный центр
имени Йоханнеса Рау
Дортмундский международный образовательный центр

Сима Марголина
Остаться жить

Минск
Издатель Логвинов И. П.
2010

УДК 94(=411.16)(476)
ББК 63.3(4Бел)
М25

Под редакцией К. И. Козака

Рецензент:
доктор исторических наук, профессор В. З. Шибeko

Марголина, С. М.

К62 Остаться жить / С. М. Марголина ; под ред. К. И. Козака. — Минск : И. П. Логвинов, 2010. — 121 с.

ISBN: 978-985-6901-73-0.

Книга С.М. Марголиной «Остаться жить» — искренний рассказ человека, пережившего нацистский вариант решения «еврейского вопроса» во время Второй мировой войны на территории оккупированной Беларуси. Мало кого эти воспоминания могут оставить равнодушными. «Остаться жить» — напоминание современникам о недопустимости насильственного разделения людей на расы, касты, национальности, вероисповедания.

Книга адресована всем, кого волнуют судьбы людей, переживших катастрофу.

УДК 94(=411.16)(476)
ББК 63.3(4Бел)

ISBN 978-985-6901-73-0

© Марголина С. М., 2010
© Историческая мастерская Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау, 2010
© Оформление. Издатель ИП Логвинов И. П., 2010



ЧТО Я ПОМНЮ...

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ: СВИДЕТЕЛЬСТВА, СВИДЕТЕЛИ И ИСТОРИКИ

В год 65-летия Победы перед нами новые страницы истории Холокоста Второй мировой войны. В том страшном пламени оккупации было непросто выжить. Около трети населения Беларуси погибло, а из почти миллионного состава еврейского населения — более 700 тыс. человек. И в то же время, в разрушенную войной жизнь возвратились с Победой солдаты, партизаны, подпольщики. Вернулись и насильно угнанные принудительные рабочие, бывшие узники концентрационных лагерей, военнопленные. Вокруг себя они увидели привычный мир, но без своих родных и близких, а с ними исчезли деревни, поселки, города. В память о них воссозданы окаменелые образы — памятники-обелиски. На «Яме» — месте акции уничтожения евреев — 2 марта 1942 г. стараниями немногочисленного состава выживших в Минском гетто был воздвигнут памятник. Так, из далекого 1946 г. для нас были начертаны первые слова о погибших евреях на русском и идиш. Книга о Холокосте, Минском гетто и организованном в нем антигерманском сопротивлении «Мстители гетто» — бывшего узника Гирша Смоляра — вышла в 1947 г.¹. Так сформировалось первое в Беларуси сообщество бывших узников Минского гетто. Но вскоре путь коллективной памяти обретет молчаливое начало. Уже в 1949 и 1951 гг. в книгах о всенародном партизанском движении в Беларуси Лаврентия Цанавы — одного из всесильных руководителей НКВД, организатора партизанского движения в республике — трагедия евреев отсутствует. В государственной масштабности полно представлена героизация руководимой партией коммунистов борьбы и массового сопротивления. Эта работа первой в СССР отмечена наивысшим признанием — Сталинской премией.

Действительно, в военное время политический и военный руководитель советского государства И.В. Сталин в некоторых своих речах осуждал немецкий террор и говорил об уничтожении славянских народов — русских, украинцев, поляков, но ни словом не обмолвился об

¹ Смоляр Г. Мстители гетто. М., 1947; Смоляр Г. Менскае гета: барацьба савецкіх габрэяў-партызан супраць нацыстаў. Мінск, 2002; Smolar H. The Minsk Ghetto. Soviet—Jewish Partisans Against the Nazis. New York, 1989.

Содержание

Возвращение к жизни: свидетельства, свидетели и историки ...	5
Умолчать — согрешить	70
Как отозвалось слово	77
Мои земляки — семья Крысько	83
Голубые ели из Кабардино-Балкарии на Узденском погосте	95
Моя Рива Яковлевна	105

убийстве на оккупированной советской территории еврейского населения. Всего лишь несколько строк посвящалось истреблению нацистами «безоружных и незащитных трудящихся еврейской национальности» в четырех письмах наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова, направленных советским послам в западных странах с ноября 1941 по май 1943 гг. Тем не менее, после войны Чрезвычайная комиссия по расследованию нацистских преступлений, созданная в 1942 г., все же фиксировала в ходе судебно-следственных действий показания преступников, жертв и очевидцев событий — массовые убийства евреев¹. И одновременно, с ростом поддерживаемого государственного антисемитизма в настроениях населения, еврейская трагедия получила «советскую» национальность². Союзные же нам американские, английские, а затем и немецкие историки немногословно, но представили одну из составных частей расовой и идеологической войны на уничтожение против Советского Союза — идею нацистского руководства о массовом убийстве советских евреев³.

К 1990-х годам, когда в Беларуси обозначились политические перемены, память Холокоста для немногочисленных свидетелей гетто представляла ожиданием возвращения правды реальных событий. Однако сообщество историков и исследователей еще не было в состоянии реально отразить вопросы истории Холокоста в Белару-

си¹. В результате 20-летнего периода — небольшая монография, попытка представить учебное пособие для учителей школ республики, три выпуска издания «История Холокоста и современность»² и около десятка документальных сборников³. Тем не менее, явно были услышаны голоса бывших узников Минского гетто — Галины Давыдовой, Симы Марголиной, Михаила Трейстера, Майи Крапиной и др.⁴. Семейные архивы, документы и материалы обрели живучесть в описании событий бывших узников гетто — дочери и матери Клары (Лели) и Берты Брук, Рахили Рапапорт, Берты Маломед и Хаси Пруслиной⁵. В совокупности коллективной памяти трагедии еврей-

¹ Cholawski S. Soldiers from the ghetto. New York, 1980; Cholawski S. The Jews of Bielorrussia During World War II. Amsterdam, 1998; Dean M. Collaboration in the Holocaust: crimes of the Local Police in Belorussia and Ukraine, 1941—44. New York, 1999.

² Иоффе Э. Г. Белорусские евреи: трагедия и героизм: 1941—1945. Минск, 2003; Спасенная жизнь: жизнь и выживание в Минском гетто / Сост.: В.Ф. Балакирев и др. Минск, 2010; Уроки Холокоста: история и современность. Сборник научных работ. Вып.1. Сост. и ред. Я.З. Басин. Минск, 2009; Уроки Холокоста: история и современность. Дело Маши Брускиной. Антология. / Сост.: В.Д. Селеменев, Я.З. Басин. Вып.2. Минск, 2009; Уроки Холокоста: история и современность. Вып.3. Минск, 2010.

³ Лагерь смерти Тростенец. Документы и материалы. Минск, 2003; «Нацистское золото» из Беларуси. Минск, 1998; Трагедия евреев Белоруссии в 1941—1944 гг.: Сборник материалов и документов. Минск, 1995; Холокост в Беларуси. 1941—1944. Документы и материалы. Минск, 2002; Judenfrei! Свободно от евреев: История Минского гетто в документах / автор—сост. Р. А. Черноглазова. Минск, 1999.

⁴ Жива... Да, я жива! Минское гетто в воспоминаниях Майи Крапиной и Фриды Рейзман. Материалы и док./сост. М.И. Крапина, Ф.В. Рейзман. Выпуск второй. Минск, 2005; Завольнер Г. Жизнь, дарованная судьбой. Книга воспоминаний бывшей узницы Минского гетто. Минск, 2004; Завольнер Г., Гальперина Р. Спасенные из ада. Жизнь и судьба. Выпуск первый. Минск, 2004; Завольнер Г., Каплинский С. Судьбой написанные строки. Минск, 2007; Левина-Крапина М.И. Трижды рожденная. Воспоминания бывшей узницы Минского гетто. Минск, 2008; Трейстер М. Проблески памяти. Воспоминания, размышления, публикации. Schimmer vom Gedächtnis... Erinnerungen, Überlegungen und Publikationen. Выпуск четвертый. Минск, 2007;

⁵ Когда слова кричат и плачут: Дневники Ляли и Берты Брук. Минск, 2004; Выжить — подвиг: воспоминания и документы о Минском гетто / сост., предисл.: И.П. Герасимова, В.Д. Селеменев. Минск, 2008. С.9—69, 70—114; Архив Хаси Пруслиной: Минское гетто, антифашистское подполье, репатриация детей из Германии. Сост. З.А. Никодимова. Минск, 2010.

¹ Нюрнбергский процесс. Преступные цели — преступные средства; Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии; Судебный процесс по делу верховного главнокомандования гитлеровского вермахта; Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных преступлениях немецко-фашистских захватчиков на советской территории. Выпуск 2. М., 1945; Черная книга. Сост. под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. Киев, 1991; Kohl P. «Ich wundere mich, daß ich noch lebe»: sowjetische Augenzeugen berichten. Gütersloh, 1990; Kohl P. Der Krieg der deutschen Wehrmacht und der Polizei 1941—1944. Sowjetische Überlebende berichten. Frankfurt am Main, 1995; «Stets zu erschießen sind die Frauen, die in der Roten Armee dienen»: Geständnisse deutscher Kriegsgefangener über ihren Einsatz an der Ostfront. Hg. von H. Heer. Hamburg, 1995.

² Нюрнбергский процесс Сборник материалов. М., 1987. Т. 1, 2; Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Berlin, 1993-Bd 3.S. 1 b52; Reitlinger G. Ein Haus auf Sand gebaut. Hitlers Gewaltpolitik in Rußland 1941—1944. Hamburg, 1962.S.294-295.

³ Wheeler-Bennett]. W. Die Nemesis der Macht. Die deutsche Armee in der Politik 1918—1945-Dusseldorf, 1954; Reitlinger G. Die Endlösung. Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden Europas 1939—1945. Berlin, 1960; Reitlinger G. Ein Haus auf Sand gebaut. Hitlers Gewaltpolitik in Rußland 1941—1944. Hamburg, 1962.

ского народа Беларуси — опубликованные страницы в США и Израиле¹. Так пережитое и увиденное, осознанное поколениями было представлено историками и свидетелями через реальность представленных образов. В них и образность Симы Марголиной через истории Узденского и Минского гетто.

Первое: история памяти Минского гетто Минское гетто — это неповторимость увиденного, это индивидуальные грани сопереживаний, это целый мир свидетелей трагедии. Этот образ рядом с теми, кто сопротивляется насилию, и теми, кто смирился с безысходностью. И все одновременно, в ограниченном времени и пространстве. Нам, даже сейчас, непросто такое воспринимать. Ведь об этом ничего не было сказано полно и открыто. Да и этот образ не претендует стать собирательным образом войны. Ведь в нем такая *Трагедия* и такая *Победа!* Тут живет одновременно народ победителей и народ побеждённых. Мы же, читатели, больше верим устоявшимся представлениям, запечатлённым образам, тиражируемым представлениям. В этом хоре свидетельские слова о понимании произошедшего, по многим причинам, нами так и не были услышаны. Да, и правда о Минском гетто долгое время оставалась в цепкой памяти тех, кто старался не напоминать о таких трагических страницах. И сейчас в авторских повествованиях содержится больше личной памяти, вопросов, обращенных к себе. Здесь нет готовых решений. Это только повествование о собственном пережитом и прожитом. Это их трагедия и надежда жизни.

Исходные пункты оккупации В предвоенный период на территории Беларуси из 10 млн. проживало около 940 тыс. евреев. Только 150—180 тыс. евреев в июне — августе 1941 г. смогли выехать в тыл

СССР или были мобилизованы в ряды Красной Армии. Для оставшихся в условиях германской оккупации началось массовое истребление. Территория гетто с особыми знаками отличия на живом теле, стремлением оккупантов к его ликвидации с помощью якобы сознательного антиеврейского проявления местного населения. И если в Беларуси это не удавалось, тогда — массовые акции, тюрьмы, гетто, душегубки и лагерь смерти Тростенец. Всего на территории Беларуси действовало 238 различных гетто в 216 населенных пунктах (включая Белостокскую обл.)¹.

Территория смерти Как правило, территория гетто было ограждена. Охрану и порядок в основном обеспечивали литовские, латышские, украинские полицейские формирования, а также местные коллаборанты. Для урегулирования текущих вопросов назначались уполномоченные представители еврейского Совета (юденраты), создавалась еврейская охранная служба. Управление ими осуществляли немецкие коменданты — начальники гетто. Временные рамки были ограничены сроками уничтожения как внутри гетто, так и за его пределами: от одного-двух месяцев — до более двух лет. Последнее в Беларуси и всей восточной части СССР Минское гетто было окончательно ликвидировано 21—23 октября 1943 г.².

Силы сторон были действительно неравны. Так, Минск был наводнен агентурой абвера, полиции безопасности и СД. Для евреев наиболее распространенным явлением стало их выявление, не носивших латы, и в итоге расстрел как саботажников и нарушителей германского порядка. Для интенсивности ликвидации вывозили в другие лагеря смерти Европы. Это был период тотального подавления не только еврейского сопротивления, но и всякого, которое хоть в какой-то степени поддерживало жизненный дух. В результате — уход в более безопасную партизанскую зону, партизаны, или самозащита

¹ Вайц И. Ликвидация Минского гетто; Минск: еврейская община под властью оккупантов // Вайц И. Катастрофа еврейского еврейства: 7: Катастрофа евреев на территории Советского Союза. Тель-Авив, 2000. С.103—109; 65—85; Даган Бен-Цион. Мы из восставшей Лахвы. Телль-Авив. 2001; Лапидус А. Нас мало осталось, нам много досталось // Левин В., Мельцер Д. Черная книга с красными страницами: (Трагедия и героизм евреев Белоруссии). Балтимор, 1996. С.341—450; Млынський Б. Страницы жизни времен Катастрофы. Балтимор, 1998; Рубенчик А. Правда о Минском гетто. Документальная повесть узника гетто и малолетнего партизана. Тель—Авив, 1999; Сегаль И. Лесной скиталец. Телль-Авив, 2001. Krasnoperko A. Brief meiner Erinnerung. Mein Überleben im jüdischen Ghetto von Minsk 1941/42. Haus Villigst, 1991;

¹ Иоффе Э.Г. Белорусские евреи. С.362.

² Родзинский Г. Дети гетто. Тель-Авив, 2004; Рубенчик А. Правда о Минском гетто. Документальная повесть узника гетто и малолетнего партизана. Тель—Авив, 1999. С.66—69; «Existiert das Ghetto noch?». Berlin, Hamburg, Göttingen, 2003; Krasnoperko A. Briefe meiner Erinnerung. Mein Überleben im jüdischen Ghetto von Minsk 1941/42. Haus Villigst, 1991; Loewenstein, K. Minsk, im Lager der deutschen Juden. Bonn, 1961; Rosenberg H. Jahre des Schreckens. ...und ich blieb übrig, das ich Dir's ansage. Göttingen 1985; Gavi J. Young hero of the Minsk Ghetto. Paducah, 2000.

в местах спасения (для обеспечения безопасности в домах и квартирах обустраивались подвалы, чердаки, потайные места — малины). Но только 3—8 тыс. смогли сохранить жизнь евреев из Минска, а более 700 тыс. евреев Беларуси были методично уничтожены нацистами. Характерно, что по свидетельству жителя Минска В.И. **Светлова** «Многие в городе евреев в свои дома не пускали, боясь, что немцы расправятся с ними. Другие сочувствовали и помогали несчастным, но не могли согласиться с тем, с какой пассивностью они отдавали себя на убой»¹. Немецкие узники Минского гетто Карл **Лёвенштайн**, Хайнц **Розенберг**, Бертольд **Руднер** представляют этот период как годы ужаса, о котором им, выжившим, предстоит рассказать новым поколениям².

Несколько иначе представлено повествование бывшей узницы гетто Симы **Марголиной** — о собственных представлениях и тех, кто близко к сердцу принял огромное еврейское горе. Это образ белорусских Праведников народов мира, которые спасли от неминуемой гибели тысячи евреев. В таком авторском представлении видится подтверждающийся образ невооруженного сопротивления части населения Беларуси. Оно было массовым и достаточно эффективным. В его основе:

- полный или частичный отказ от выполнения директив, приказов, решений оккупационных органов;
- сокрытие информации от оккупационных органов о фактах антигерманских настроений;
- отказ в помощи германским органам по выявлению евреев, бывших активистов советской власти;

¹ Светлов В.И. Незабываемое. С.33.

² Loewenstein K. Minsk — im Lager der deutschen Juden // Beilage zur Wochenzeitschrift «Das Parlament». B. 45/46. 7.11.1956, 7067711; Loewenstein K. Minsk, im Lager der deutschen Juden. Bonn, 1961; Rosenberg H. Jahre des Schreckens. ...und ich blieb übrig, das ich Dir's ansage. Göttingen 1985; Воспоминания жителя г.Гамбурга Хайнца Розенберга, бывшего узника Минского гетто // Judenfrei! Свободно от евреев. С.236; Руднер Б. Дневник из Минского гетто (ноябрь 1941 — июнь 1942); Записки из Минского гетто. Памяти Марты Крон, умершей 26 января 1942 года в 18 часов в Минском гетто. Рассказ о последних трех месяцах жизни (12.11.1941-26.1.1942) // Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчыннай вайны: масавыя забойствы нацыстаў. Минск, 2005. С. С.202-219, 220-225.

- оказание практической помощи узникам гетто (предоставление временного убежища, изготовление документов, снабжение одеждой, питанием и др.);
- обеспечение временного или постоянного укрытия в собственных жилищах и сохранение жизней еврейским семьям, особенно детям;
- отсутствие в гражданской среде националистических проявлений, которые снижали антиеврейские, антирусские, антипольские проявления, всячески пропагандируемые германскими оккупационными органами;
- выработка позитивных коллективных настроений о скором освобождении;
- переход к вооруженной деятельности.

В совокупности 587 граждан Беларуси (на 1.01.2008) признаны «Праведниками народов мира» за спасение евреев от уничтожения в годы германской оккупации¹. Каким же был путь спасения нашей героини²:

Первое: хорошие соседи остались добрыми соседями Уход из гетто был связан с передвижением в безопасные места. Таковыми могли быть квартиры или жилища знакомых, которые готовы были принять. Так как ситуация изменилась и многие покинули город или переехали в другой район, то найти их было достаточно сложно. За короткое время надо было в тяжелых условиях найти тех, кто согласился бы рисковать и принять стариков, женщин, детей.

Но что значило тогда спрятать еврейку? Неминуемый расстрел не только для того, кто это сделал, но для всего дома и улицы. Все жили в ожидании худшего.

Второе: Места спасения Попадая в зону вне гетто, как правило, все стремились оборудовать тайные места для нахождения. В этом опыт гетто. Трудно перечислить все варианты «малин» — они зависели от местных условий, количества скрывавшихся и фанта-

¹ Феферман К. К вопросу о спасении евреев неевреями на оккупированной территории советской Белоруссии и присвоения их спасителям звания «Праведник народов мира» // Актуальные вопросы изучения Холокоста на территории Беларуси в годы немецко-фашистской оккупации. С. 139.

² Праведники народов мира: живые свидетельства Беларуси / сост.: К.И. Козак, М.И. Крапина и др. Минск, 2009. С.28—48.

зии их создателей: ложные стенки или фронтоны, оставляющие свободное пространство для укрытия; погреба с замаскированными люками, иногда за пределами дома, с подземными ходами к ним; крайняя комнатуха, дверь в которую заставлялась шкафом.

К сожалению, жертвы часто оказывались напрасными, так как у карателей были свои методы: собаки, простукивание стен, гранаты, дымовые шашки, забрасываемые в погреба, и т. д. Да и убежища годились лишь для кратковременной отсидки. Питание, свежий воздух, болезни требовали перемен.

Третье: преднамеренное сотрудничество или послушание из-за страха быть убитым? Проживая временно или постоянно, бывшие узники гетто или евреи по ряду обстоятельств были узнаваемы соседями, жителями населенных пунктов, а иногда и местной полицией. В некоторых случаях они доносили германским органам. Одни боялись за жизнь своих детей, другие стремились быть послушными требуемым от них обязательствам, третьи могли быть сторонниками идеологии национал-социалистов. По представлениям свидетелей, такие примеры в Минске, где подозреваются соседи в доносах или провоцировании ухода, имели место. Тем не менее, однозначность суждений о таких поступках зачастую ошибочна.

Четвертое: Изменение фамилии и национальности Оставшиеся в городах евреи могли выжить при их адаптации к условиям. Таковыми стали дети, молодые люди, внешне непохожие на евреев. Им выдавали паспорта с новыми фамилиями, их крестили в православных церквях, их принимали в детские приюты или дома. И это служило гарантом признания перед германскими органами об их белорусском происхождении (в дальнейшем им предстояла борьба вернуть свою еврейскую идентичность — К.К.). В некоторых случаях матери подбрасывали детей в дома (специальные дома или учреждения) в надежде, что это поможет им выжить. Паспорта о нееврейском происхождении давали шанс успешно покинуть населенные пункты и адаптироваться как беженцы в незнакомых местах.

Пятое: Путь спасения — к партизанам и в партизаны Как показывает практика, только небольшая часть евреев смогла укрыться в городе до освобождения Красной Армией Минска. Большинство же вынуждены были покинуть обжитый кров уже через несколько дней или недель своего пребывания. Но куда? Свидете-

ли уточняют, что таким местом были партизанские зоны. И тогда значимую роль играли связные партизанских отрядов или подпольщики. Им предстояло преодолеть еще немало трудностей, чтобы провести в более безопасные места группы евреев. Как правило, достигали желаемой цели лишь немногие. Этот был тяжелый и смертельный путь.

Шестое: оставленные дети и их сложные судьбы Грудные или дети, оставленные родителями перед домами или на улице, в надежде, что их возьмут новые родители на воспитание, оставались без подлинных историй их происхождения. Новые родители могли только лишь догадываться о прошлом. В действительности их представления были достаточно далеки от реальных событий. Они вскоре становились частью семьи. В итоге, немалое число детей так и не узнает о настоящих своих родителях. В послевоенное время нередко им приходилось через суды восстанавливать свою подлинную национальность.

Седьмое: Немцы, полицейские, представители оккупационной гражданской администрации как спасители Из среды германских оккупационных органов представлен только один факт спасения еврейской девушки немецким офицером. Более детальное рассмотрение дает основания говорить о значительно большем количестве положительных примеров спасения. Во многом действия со стороны ряда представителей оккупационных органов не квалифицировались как спасение.

Восьмое: каждая преграда могла быть непреодолимой На пути к спасению было немало преград, каждая из которых могла быть непреодолимой. Пройдя же его, спасенный, как правило, представляет в своем образе только главных фигурантов. Как правило, на пути передвижения евреев из Минска частые места остановок были временными. Некоторые деревни находились вблизи партизанских зон или лесных массивов и представлялись более безопасными, другие населенные пункты строго контролировались полицией, в них располагались гарнизоны, опорные пункты или полицейские участки. В них таилась наибольшая опасность быть схваченным и убитым.

Девятое: Изменение статуса — не есть полная защита Изменение фамилии и статуса вносило свои изменения в жизнь. Вступали в силу новые отношения оккупационных властей с местным населением. Таковыми стали карательные операции в партизанских

зонах, сжигание деревень в период 1943—1944 гг., принудительный вывоз молодежи на работы в Германию, облавы и аресты

Десятое: Карательные действия оккупантов против населения, оказывавшего помощь в спасении евреев В условиях жестокого обращения с местным населением германские оккупационные органы не раз демонстрировали свою приверженность к насилию за укрывательство или утаивание информации. Повсеместное преследование тех, кто помогал евреям, нередко порождали страх, неуверенность и отчаяние у большинства обывателей. Практика оккупационных органов была такова, что за провинности наказывали все семейство, по принципу круговой поруки. Риск для семейных был огромный. Карательные меры к населению принимались незамедлительно: аресты, расстрелы, сжигание жилых строений, конфискация имущества, вывоз в концентрационные лагеря.

Возвращенная память. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в 1997 г. впервые возложил венок на «Яме», а в июле 2000 г. выступил с речью при открытии мемориального комплекса. Там же в 2008 г. он сформировал новый подход к истории Холокоста. В образности 65-летия трагедии Минского гетто было воссоздано 4 новых памятника (жертвам в Тучинке, Минского гетто — на месте четырех массовых захоронений более 5 тыс. чел., бывшего еврейского кладбища, на месте казни «неизвестной» Маши Брускиной).

А сейчас, насколько образ трагического прошлого Симы Марголиной может стать вровень с предыдущими? Ведь у нее свои понятия, да и в большей степени они индивидуальны. Тут же творческое понимание живого таланта маленькой девочки, а затем творческого человека — открывает мир для поколений. Понимающий в монологах Василий Быков первый открыл для нас еще одну жизненную правду Симы Марголиной. По его просьбе был представлен текст в одном из ведущих журналов. Но и сейчас, после узнанного в истории Холокоста, изменилось немного, все тоже большое полотно памяти страданий в Минском гетто, все также заметны молчаливые голоса и востребованы пережитые истории.

Кузьма Козак
директор Исторической мастерской

Посвящаю своему отцу *Марголину Михаилу*

Отец называл меня «дачушка». Обращался ко мне по-русски — «дачушка», или по-еврейски — тоже «дачушка». Я спрашивала:

— Папа, почему ты все слова произносишь по-русски, а «дачушка» — по-белорусски?

Отец отвечал:

— Доченька — это совсем не то, что «дачушка», ты не доченька — ты моя «дачушка».

Ему казалось, что только это слово, в его теплом белорусском звучании, может выразить всю отцовскую нежность, всю трогательную любовь ко мне, своей дочери, чудом уцелевшей в той страшной войне.

В 44-м, после того как мы нашли друг друга, в его речи появился постоянный рефрен: «Я нашел дачушку».

«Я нашел дачушку», — с этих слов начинались все беседы, воспоминания и все его дела. Да и вся его короткая послевоенная жизнь прошла под знаком этого счастливого события, дарованного ему судьбой за все страдания, муки и утраты, выпавшие на его нелегкую жизнь.

...Растаявшие, ставшие памятью, кажущиеся теперь безоблачными годы моего довоенного детства...

Председатель сельпо в деревне Каменка, что в пяти километрах от Узды, Михась Кастрицкий. Отец работает у него — не помню уже, в какой должности. Мы дружим семьями.

— Завтра едем с тобой на свадьбу в Каменку. Посмотришь, какая это красота — деревенская свадьба, — говорит отец.

Назавтра, в теплое, душистое летнее утро он выносит из сарая упряжь, выводит во двор лошадь, запрягает, мы садимся в повозку и съезжаем со двора.

Мне девять лет. Я старшая в семье. Две моих младших сестрички провожают нас, в глазах — добрая зависть. Мы едем медленно, подвозим путников.

— Ты, дзядзька, з Зенькавіч будзеш, а ты з Лошы, — говорит отец.
— А як жа ты здагадаўся і не памыліўся? — спрашываюць крэсьцяне.

— А я вас па гаворцы пазнаю, у кожнай вёсцы свая гаворка, свой дыялект, — адвечвае отец.

Прыехалі ў деревню незаметно. Хорошо помню гостеприимный дом Кастрицких, нарядно прибранные комнатки, высокую пушистую постель со сложенными пышной горкой подушками, одетыми в кружевные наволочки ручной работы. Заночевали. А утром в русской печи пеклись душистые гречневые блины. Их подавали с жареным салом, молоком, со слоистой, из погреба, холодной домашней простоквашей. Мы с Женей, дочерью Кастрицких, моей ровесницей, дружно все это уплетаем, торопимся на свадьбу.

Помню невесту в белом наряде с веночком из живых цветов, приколотых к волосам, жениха с алой георгиной в петлице. Звенят шуточные белорусские песни в сопровождении гармошки и бубна.

К вечеру отец приехал за мной. Мы, благодарные, прощаемся с гостеприимными хозяевами, возвращаемся домой. Едем медленно, отец вспоминает свое детство, рассказывает...

РОДОСЛОВНАЯ

Он был последним, десятым, ребенком в многочисленной еврейской семье, рано осиротел. С десяти лет стал зарабатывать на жизнь, не гнушался никакой работы. Жили впроголодь. Когда удавалось достать немного леку — так называли селедочный рассол — был праздник в доме. Влек макали сваренную в «мундирах» картошку, считая это блюдо за деликатес.

Вскоре после революции представители новой власти стали отбирать у жителей местечка личные сбережения, без них, поясняли, нельзя будет построить социализм. Называлась эта кампания «изъятием ценностей».

В семье отца тоже были небольшие сбережения — два десятка золотых монет царской чеканки, которые хранились про черный день, как было принято в те времена. Завернутые в тряпицу, они были засунуты в щель между одной из балок и досками потолка. Когда экспроприаторы вошли в дом, бабушка так волновалась, что все время поглядывала на потолок, на ту заветную балку, под которой хранилось ее достояние. Так его и обнаружили...

Мои дед и бабушка по отцовской линии умерли до моего рождения, я их уже не застала. Хорошо только помню выросший наполовину в землю убогий домишко с маленькими слепыми окошками, где прошло детство моего отца.

Дедушка с бабушкой по материнской линии жили с нами в одном дворе. Их старый, обветшалый дом выходил окнами на улицу, а наш, новый, приютился у него сзади. За домами разместились хлев и сарай, дальше простирались огороды.

Дедушка был сапожником. Его верстак располагался рядом с кухней. Помню ворох изношенной, истоптанной обуви, сохранившей изгибы натруженных ног своих хозяев, и моего деда, удобно восседавшего на табурете с мягким сиденьем из переплетенных полосок кожи. На верстаке и подоконнике лежал его немудреный рабочий инвентарь: острые сапожные ножи с кожаными рукоятками, баночки с гвоздями, сапожный клей в гнутых старых жестяных баночках и бесконечное множество разных молотков.

И в праздники, и в будни дед носил одну и ту же одежду: серый кордовый пиджак и брюки. Поверх костюма он повязывал зашмальцованный старый передник из сурового крестьянского полотна. Голову покрывал суконной кепкой.

Постоянными его клиентами были почему-то не местные узденские жители, а крестьяне из окрестных деревень. Они к нему приходили пешком или приезжали на лошадях. Неуклюже вваливались в дом с котомками и плетеными корзинами, набитыми прохудившейся обувью, удобно усаживались рядом с дедом, и начинались бесконечные беседы. Наведывались они обычно по воскресеньям рано утром, а разъезжались и расходились уже в сумерках. Мне кажется, что дед чинил сапоги и ботинки не только ради денег, а из-за возможности побеседовать со своими клиентами, поделиться своими жизненными тяготами.

Мне нравилось наблюдать за работой деда, я могла стоять возле его станка часами. Пальцы у него были деформированы, особенно большой и указательный на правой руке. В молодости при заготовке дров он их отморозил. С возрастом образовались контрактуры, обезобразившие пальцы, что мешало ему трудиться. Случалось, молоток выскальзывал из рук и вместо шляпки гвоздя ударял по пальцам. Сердце у меня сжималось от боли...

Я была любимой внучкой деда, возможно, потому, что носила имя его матери, моей прабабки. Называл он меня не иначе как «моя

мама». Несколько раз в году по еврейским праздникам дедушка, постучав в окошко, зазывал меня к себе и давал рубль, а на хануку — два рубля. А когда я стала школьницей, получала по рублю за каждую похвальную грамоту. Я училась хорошо и получала их ежегодно. Моя младшая сестричка Нина, двумя годами младше меня, тоже была отличницей. Наши похвальные грамоты были предметом особой гордости родителей. Каждая грамота бралась в застекленную рамку и вывешивалась на самом почетном месте в парадной комнате. Когда началась война и в местечко вошли немцы, родителей больше всего беспокоило, куда спрятать самое дорогое достояние нашей семьи — похвальные грамоты. Их спрятали между поленьями дров в сарае. В 1943 году во время боя между партизанами и немцами сгорели и наш дом, и сарай...

Хозяйство вел дедушка. Содержал в порядке хлев, огород. Помню ухоженные грядки под огурцы, морковь, свеклу, вовремя прополотые и политые. Была у него прирученная лошадка, она гуляла по местечку без уздечки, сопровождала его, как верный пес. Когда дедушка заходил в лавку, лошадка ждала его у входа, прогнать ее или увести никто не мог. Радостным ржанием она встречала только своего хозяина.

Дедушка держал корову — предмет его особого внимания и заботы. Иначе и быть не могло. Корова была кормилицей.

Мою бабушку звали Фейгл. Она была дочерью раввина, очень набожная. Маленькая, сухонькая, слабая здоровьем, поэтому дед и вел домашнее хозяйство. Но подготовку к Пасхе бабушка никому не доверяла и проводила сама с полным соблюдением всего ритуала: тщательно мыла полы, окна, стены, вносила пасхальную посуду, которая хранилась на чердаке. Бабушка готовила галушки из мацы с гусиным жиром и массу других вкусных вещей. Помню ее постоянно склоненной над Библией, в которой она пыталась найти объяснение своей судьбы и пророчество на будущее. Бабушка усердно молилась Богу и просила Его помочь ее двум малолетним внукам-сиротам, детям старшего сына, рано овдовевшего. Болью за них была пронизана вся ее жизнь. По субботам бабушка просила меня помочь поднести в синагогу молитвенники. Это были тяжелые старые книги в кожаных переплетах. Помню ее в наброшенной на голову черной кружевной накидке, медленно, шаркающей походкой направляющейся в синагогу. Я следую за ней, несу книги. Заходим в синагогу. Она поднимается на антресоли, как того требуют религиозные правила (муж-

чины и женщины молятся отдельно), занимает свое постоянное место, приступает к молитве. Через некоторое время я должна встретить бабушку. Признаться, мне тогда были в тягость эти обязанности. По детской наивности и невежеству я обрадовалась, когда закрыли синагогу, передав ее здание под детскую спортивную школу. Туда я бегала с радостью. А бабушка продолжала молиться дома — за всех бедных, за всех сирот, за всех больных и несчастных. Жизнь по Библии со строжайшим соблюдением ее священных постулатов питало горячее желание бабушки дать образование своим детям. «Знание рассеивает тьму», — любила она повторять.

МАМА

...Многочисленная семья бедного сапожника, нужда, повседневные заботы о хлебе насущном. А маме так хотелось получить образование, тем более что для этого у нее были все данные. Она была от природы одаренным человеком. Окончила гимназию с отличием, учиться дальше не позволяли материальные возможности. Через год снова поступила в последний класс гимназии и снова с отличием завершила курс обучения. На этом закончилось ее образование. Затем замужество, трое детей, хозяйство. Теперь мама мечтала дать образование нам, своим детям, радовалась нашим успехам. Она гордилась, что была одноклассницей Павлюка Труса, а зачастую первым слушателем и судьей его поэзии. Мама знала наизусть почти всего Пушкина, корила нас за то, что мы мало учим наизусть. Знание русского языка было у нее безукоризненным. Помню, как со всего местечка приходили к ней школьники проверять домашние сочинения.

Она погибла в газовой камере, когда ей не было и 35-ти, в самом жестоком минском погроме 28 июля 1942 года.

В июле 1944-го, когда я встретилась с отцом, он попросил меня: — Расскажи, как погибла мама?

Я начала рассказывать и не смогла, рыдания не давали говорить, — Не рассказывай, — пожалел отец, — когда-нибудь напишешь.

Он рассчитывал на долгую послевоенную жизнь, но, увы, судьба распорядилась иначе. При его жизни я не написала. Отец сошел в могилу до обидного рано. Нелепость этой ранней смерти, посередине пути, как говорил отец, предчувствуя свой уход, надолго разрушили мои намерения и планы.

ШКОЛА

Родители отдали меня в белорусскую школу. Я хорошо помню своего первого учителя со звучной фамилией Барбарчик. Он преподавал нам, несмышленишкам-шестилеткам, пестрой толпе мальчиков и девочек разных национальностей, первые уроки грамоты. Мы тогда не думали, кто мы по национальности. Это не имело для нас ровно никакого значения. Это я потом узнала, что из моих ближайших подруг Лиза Кантарович — еврейка, другая, Айша Канапацкая, — татарка, а Ира Крысько — белоруска. Наш класс был мозаикой характеров, способностей, знаний, умений, но только не национальностей. Наши учителя воспитывали в нас интернационализм и любовь к своей родине. Нас убеждали, что наш строй — самый справедливый строй в мире, а наша родина — самая прекрасная страна на земле. Павлик Морозов и герои Гайдара — вот те прекрасные идеалы, которым мы стремились подражать. Мальчишки бредили героем-пограничником Карацупой, а кличкой его легендарной собаки — Ингусом — называли всех уличных дворняжек. Узда до войны считалась приграничной полосой, советско-польская граница проходила у станции Негорелое, в 20-ти километрах от Узды. В «Пионерской правде» постоянно рассказывалось, как юные пионеры задержали шпиона или диверсанта, пытавшегося перейти государственную границу. Как мне хотелось тогда совершить героический поступок! Я ловила себя на том, что присматриваюсь к незнакомым прохожим, пытаюсь найти в них приметы шпиона или диверсанта.

Вспоминаю, как однажды, зачитавшись до полуночи и услышав исполнявшийся по радио «Интернационал», я встала и застыла по стойке «смирно» с поднятой вверх рукой пионерского салюта, чем удивила моих родителей, неожиданно появившихся в комнате. Но пока звучал гимн, я не опустила руки. Так нас учили учителя и пионервожатая. Всем классом мы ходили в детскую спортивную школу, сдавали нормы на значок ГТО. Мы готовились защищать свое Отечество, свой дом и свою школу от окружавших нас врагов.

Зимой 1938 года в нашей школе произошел трагический случай, вселивший в мою душу страшное смутение: арестовали нашу учительницу биологии. Говорили, что она оказалась немецкой шпионкой и врагом народа. Мы любили ее, а занятия в кружке юных натуралистов, который она вела, были для нас настоящим праздником.

Я никак не могла понять, как наша любимая учительница могла оказаться врагом народа, пыталась выяснить это у родителей. Но они уходили от ответа на мои неудобные вопросы.

В 1939 году ценными по тем временам подарками награждали отличников учебы. Торжественное награждение проходило в школьном клубе в присутствии всех учителей и учащихся. Подарки вручал сам директор школы Михаил Андреевич Прохоренко. Мне достались польские коньки-снегурочки, а моей подруге Лизе Кантарович — авторучка, можно сказать, уникальный подарок. Ведь мы тогда писали деревянными ручками с металлическим пером, а стеклянные чернильницы-невыливайки в самодельных холщовых мешочках, стянутых веревочкой, куда макали перья (неприменно номер 86), носили с собой в школу. Луначарский писал в свое время, что подлинный социализм наступит тогда, когда каждый советский человек станет обладателем наручных часов, автоматической ручки и велосипеда. В 1939 году до такого социализма, о котором мечтал Луначарский, было еще далеко.

Ученица 4-го класса, я тогда вместо того, чтобы поблагодарить за подарок, расплакалась навзрыд. Сквозь слезы причитала:

— Я тоже хочу авторучку, коньки у меня есть, я хочу такую же ручку.

Сошла со сцены вся в слезах под общий смех зала. Вспоминая впоследствии этот курьезный случай, я стыдилась, густо краснела даже наедине с собой.

В 1948 году я поступила в Белгосуниверситет. Первым преподавателем, который вошел в аудиторию, был наш довоенный директор школы Михаил Андреевич Прохоренко. В перерыве, преодолевая смущение, я подошла к нему. Мы разговорились, вспомнили школу, учителей, моих родителей и, мне казалось, молча, про себя, тот курьезный случай с моим награждением.

И снова память возвращает меня в нашу Узденскую белорусскую среднюю школу, которая 5 лет тому назад отметила свой столетний юбилей...

В мае 1941-го нас распустили на летние каникулы. Прощаясь со школой, учителями, одноклассниками, мы тогда и не подозревали, что уходим на последние мирные каникулы, что со многими и многими расстаемся навсегда, что благословенное мирное время уходит в прошлое, а нам придется пройти через такие испытания, которые не могут присниться и в страшном сне.

1 сентября 1944-го возобновились занятия в нашей школе. Позади остались три страшных военных года. Еще шла война, еще сражались и погибали на фронтах и в партизанских отрядах учителя и ученики нашей школы. Но воздух был уже напоен ароматом близкой победы. Мы, уцелевшие, пришли в классы совсем другими, не по годам повзрослевшими, расставшимися со многими иллюзиями. Была великая радость встреч, соединенная с болью утрат.

Помню послевоенные самодельные тетрадки, сшитые вручную из грубой оберточной бумаги коричневого цвета, чудом уцелевшие учебники, сумки-торбы для книг. Обладатели военных планшетов, использовавшихся вместо портфелей, вызывали чувство острой зависти. Не хватало учителей, собирали по всему району, по сельским школам. Это была сельская интеллигенция высокой нравственной пробы. Для меня они на всю жизнь остались образцами самоотверженности, скромности, порядочности, трудолюбия. В то непростое время они были верны своему священному долгу учителя, без остатка отдавая себя трудному и благородному делу просвещения. Хочу низко поклониться им и поблагодарить судьбу за то, что они были моими учителями и наставниками не только в школе, но и в жизни. Это Михаил Кондратьевич Король — учитель математики и физики, Иван Григорьевич Трус — учитель русского языка и литературы, Игнатий Адамович Дешиц — учитель химии и биологии, Леонида Антоновна Язвинская — учитель белорусского языка и литературы, Федор Михайлович Ус — учитель истории, всеобщий любимец, и многие другие.

Вспоминаю первый послевоенный вечер — встречу выпускников нашей школы с коллективом учителей и школьников. Было это в 1949 году на зимних каникулах. Все торжественно нарядны, взволнованы, счастливы. Я, студентка БГУ, первокурсница, рассказала, как на вступительных экзаменах меня похвалили за знания по истории, спросили, какую школу я окончила и кто мои учителя. И я с гордостью назвала нашу Узденскую белорусскую школу и своего учителя истории. Федор Михайлович был счастлив.

— Ты, мусіць, хлусіш? Гэта праўда? — спросил он.

— Гэта праўда, — ответила я, — хіба ж вы вучылі нас хлусіць?

И еще мне вспомнилось, как на торжественном собрании в школе по случаю октябрьских праздников в президиум пригласили родителей отличников учебы и среди них моего отца. Гордый за оказанную честь, он занял место в первом ряду президиума, но,

согревшись в теплом помещении после долгого трудового дня, уснул. В зале это заметили — мне кто-то шепнул:

— Твой папа уснул.

Я растерялась, испугалась: сейчас все заметят, начнут смеяться над отцом. Но благодаря такту учителей конфуз остался незамеченным, все обошлось.

ВОЙНА

Летом 1939 года взяли в армию моего отца. Его полк принимал участие в воссоединении с БССР западных областей Белоруссии. Но и после 17 сентября мобилизованных не отпускали. Никто тогда не знал, как будут развиваться события дальше. Настроение было тревожным, местечко как бы замерло, притаилось в ожидании. Но вскоре эту напряженно-мирную жизнь растревожили беженцы — польские евреи, бежавшие от немцев. Помню семью, расквартированную в доме моего деда. Это были старая женщина с испуганным лицом, ее глухая дочь и 15-летний внук. Они предупреждали: «Надо бежать, немцы придут в Россию, уничтожат всех евреев». Никому не хотелось тогда верить в это горькое пророчество, все надеялись на мирную, спокойную жизнь. Вскоре беженцы подались дальше, на восток. Многие успели уехать до нападения Германии на СССР, а те, кто застряли в Узде, разделили участь местных евреев — погибли в погроме в октябре 1941 года.

Зима 1939-1940 гг. была суровой. Морозы доходили до 39 градусов. Началась финская кампания. Военные части из Западной Белоруссии стали перебрасывать на финский фронт. В Узду пришли первые похоронки, возвращались раненые и обмороженные.

Ежедневно у местного отделения связи толпились женщины, дети и родственники тех, кто был призван в армию, ждали писем, обменивались новостями. Помню маму, закутанную в теплую шаль, в валенках, в толпе встревоженных женщин в ожидании весточки от папы. Радость от долгожданного письма была короткой, как вспышка света в ночи, а на завтра снова тревога и страх за судьбу нашего папочки. Тяжелые предчувствия мучили маму. К сожалению, они ее не обманули. Уже через полтора года родители расстались навсегда, потеряли друг друга в страшном водовороте войны. Чашу нечеловеческих страданий испили порознь, до последнего мгновения думая друг о друге и тайно надеясь, что к каждому из них судьба будет милосердна, они не встретились уже никогда.

Утро 22 июня не предвещало беды. Я и две мои младшие сестрички безмятежно спали под присмотром дедушки, так как родители в половине шестого утра уехали в Минск. К вечеру мы ждали их возвращения. Они всегда привозили нам из города незамысловатые минские подарки. Нам снились сладкие сны. И вдруг взволнованный голос дедушки разбудил нас:

— Дети, вставайте, одевайтесь, началась война.

Мы быстро оделись и вышли на улицу. У черной тарелки громкоговорителя, сбившись в кучу, безмолвно застыла толпа людей. На лицах — страх, отчаяние.

Началась война... Два простых коротких слова, перечеркнувших все: надежды, мечты, саму жизнь. Собравшись в то солнечное утро у громкоговорителя жители нашего беззащитного местечка и не подозревали, что принесет им война уже в ближайшие дни.

Нас же в то утро заботило и волновало только одно: скорее бы вернулись из Минска родители. К часам пяти вечера они вернулись и привезли еще более печальные новости. В Минске паника, тревога, суматоха. Уже лилась кровь, на станции видели снятых с поезда раненых и убитых.

Вечером и всю ночь воздух сотрясала приближающаяся артиллерийская канонада. Назавтра стало известно об эвакуации районных государственных учреждений: райкома партии, отделения госбанка, почты. Вслед за ними уезжали отдельные жители местечка, имевшие свой транспорт, то есть лошадей. На семейном совете обсуждался вопрос о нашей эвакуации. Уехать было не на чем. Дедушка с бабушкой наотрез отказались двигаться с места: два глубоких старика, они не смогли бы пройти и километра. Пока мы принимали свое мучительное решение, вернулись назад жители, пытавшиеся эвакуироваться. Дорогу им перерезали наступавшие немецкие части. А еще через день и в нашем местечке объявились немецкие войска. Они двигались по нашей улице, направляясь на восток. Вначале шла пехота с дымящимися полевыми кухнями. Затем следовали велосипедисты, за ними снова пешие солдаты, потом кавалерия. Сильные, пышущие здоровьем, с закатанными по локоть рукавами мундиров, они горланили песни, выводили чуждые нашему слуху мелодии на губных гармониках.

Местечко словно вымерло, все попрятались по домам. А войска все двигались — и днем и ночью. А тут еще беда: недосмотрел дед, корова подавилась картофелиной. Бока у нее распушило, она сто-

нет почти по-человечески, в глазах страдание. Засучив рукава, дед пытается залезть корове в глотку и вытащить злополучную картофелину, с него пот льется градом, но его усилия, увы, безрезультатны. Животное погибает. И вдруг происходит невероятное: дед, презрев страх, выбегает на улицу и бросается к немцам с криком:

— Помогите, помогите (ди ку, ди ку, — произносит он по-немецки), корова подавилась, спасите корову.

Окаменев от страха, мы наблюдаем за дедом. Видим, как из строя выходит немецкий офицер и направляется ему навстречу. И вот они уже идут к нашему дому: дедушка впереди, немец сзади с автоматом наперевес.

Немец вошел во двор, спокойно оглядел корову, закатал рукава, вымыл руки в ведре с водой, и вот его правая рука ловко орудует в коровой глотке. В мгновение ока он извлекает картофелину и в сердцах бросает ее оземь. Наша буренка сразу ожила, опали бока, повеселели глаза. Дедушка прослезился от радости. Затем немец попросил дать ему какую-нибудь посудину и, вылив в глиняный горшок содержимое своего котелка, пригласил всех отведать душистого чечевичного супа с мясом.

— Ду бист юде? — спросил немец дедушку. Я тогда впервые услышала это слово.

— Наин, — ответила я за него, — дас ист майн grosфатер.

Я, ученица пятого класса, изучала немецкий язык и даже знала наизусть несколько стихотворений: «Лорелей» Г. Гейне и красивое стихотворение о веселых, загоревших до шоколадного цвета пионерах из пионерского лагеря Артек, купающихся в теплом Черном море.

Но все это было в той, другой жизни, которая только что закончилась. А теперь этот немец, тоже, очевидно, из той, другой жизни, вернул нас к реальности и предупредил:

— Юден капут. Вам надо бежать, если сумеете и успеете. К сожалению, мы не успели и не сумели...

На третьи сутки немецкого наступления недобрая весть пронеслась по местечку: пропал немецкий солдат. Было объявлено, если он не найдется, к утру не вернется в часть — расстреляют 50 заложников. Заложниками взяли 50 молодых мужчин, представлявших всю национальную мозаику жителей местечка: белорусов, татар, евреев.

Родственники, столпившись у здания бывшего Дома культуры, куда заточили заложников, оплакивали своих близких. Все пони-

мали: если солдат не найдется, судьба несчастных будет предрешена. К счастью, солдат нашелся. Оказалось, он приглядел себе местную подружку и провел с ней ночь, а наутро вернулся в часть. Заложников освободили,

Сразу после вступления в местечко немцы расстреляли на кладбище коммунистов, не успевших эвакуироваться. Взяли их по доносу местных жителей. Вслед за ними во дворе районной больницы были расстреляны двое попавших в плен раненых красноармейцев. Их вывели во двор больницы в нижнем белье со связанными за спиной руками. В последние мгновения своей молодой жизни они выкрикивали свои имена и фамилии в надежде, что кто-нибудь услышит, запомнит и передаст их родным и близким, расскажет, где и как они погибли в самом начале войны. (Они взывали и к своей самой последней надежде, спасителю и вождю:

— Да здравствует Сталин, да здравствует коммунизм!)

Вскоре были назначены местные власти, создана управа. Бургомистром стал известный в местечке стахановец и ударник труда, мастер местной сапожной мастерской Брель. В управу вошли всеми уважаемый главврач больницы доктор Круглик, его жена, тоже врач. Был назначен немецкий комендант, начальник местной полиции. Им стал наш сосед Викентий Витковский.

УЗДА, ГЕТТО, ПОГРОМ

Минул первый тяжелый месяц оккупации, конец которого был отмечен изданием зловещего приказа: все евреи должны покинуть свои дома и в течение двух дней переселиться в гетто. Для гетто отводились две улицы: Ленинская и Пролетарская. С собой разрешалось брать только крайне необходимый скарб. Домашнюю утварь, мебель, скот брать запрещалось. Все узники гетто, взрослые и дети, начиная с 10-летнего возраста, должны носить на левой стороне груди и на спине круглые нашивки желтого цвета определенного диаметра — «латы». Ходить по тротуарам запрещалось, только посередине улицы, за неповиновение — расстрел. Таков был приказ, который под угрозой смертной казни следовало выполнять.

Мы покидали наш дом, нашу улицу и прощались с соседями. Нас приютила семья моего дяди, так как он жил по Ленинской улице, вошедшей в гетто.

Гетто... С первых же дней стал формироваться его тяжелый, жестокий быт: скученность, теснота, оторванность от внешнего мира, страх предстоящей расправы, который питался зловещими слухами. Ни у кого не вызывало сомнения, что мы попали в западню, вырваться из которой практически невозможно. Гетто обнесли со всех сторон колючей проволокой. На деревянном щите, укрепленном у входа, на стенах домов были вывешены приказы, предписывавшие правила поведения: за нарушение режима — расстрел, за выход за пределы гетто — расстрел, за общение с местными жителями — расстрел.

16 октября вечером начальник местной полиции Викентий Витковский собрал в клубе им.Тельмана узников гетто, представителей от каждой семьи, и сделал заявление: все жители гетто завтра утром, то есть 17 октября, будут вывезены в Минск. Надеть на себя следует лучшую одежду, причем — было оговорено, — если кто надевает платье, не следует надевать поверх юбку и кофту, и, наоборот, надев кофту с юбкой, не разрешается надевать платье. Все лучшие вещи, если они запрятаны, должны быть извлечены и положены на видное место. Также следует поступить и с семейными драгоценностями. Машины на территорию гетто будут поданы к 6-ти часам утра 17-го.

Растревоженные, предчувствуя недоброе, расходились узники после этого собрания. К сожалению, многие из собравшихся тогда в клубе поверили в эту гнусную ложь. Иначе и не могло быть: Витковскому доверяли, его все знали — скромный человек, добропорядочный сосед. Но и поверившие и не верившие ему в ночь с 16-го на 17 октября не уснули, в тревоге ждали наступления утра, ставшего для многих последним. Безмятежно спали только маленькие дети, им снились сладкие сны.

Ночью в гетто пробрался бежавший из Шацка, чудом спасшийся от погрома мужчина. Он рассказал о случившейся там катастрофе. «Технология» была та же. То же обещание вывести накануне всех в Минск, назавтра — уничтожение.

17 октября в 5 часов утра гетто окружили плотной цепью вооруженные до зубов гестаповцы и полицейские. Уже ни у кого не вызывало сомнений — готовится погром. Поползли слухи, что будут расстреливать только молодых и, в первую очередь, мужчин. Их стали лихорадочно прятать. Мой отец (к началу войны ему исполнилось 35 лет) и дядя Борис успели укрыться в сарае внутри полен-

ницы ровно уложенных дров. Эта спасительная поленница навсегда разлучила моих родителей.

Глубокие рвы вырыли за «греблей» (так называли небольшой район в конце местечка, расположенный за мостом через неглубокую речушку Уздянку). Очевидцы рассказывали, что рвы копали военнопленные. После того как они выполнили свою работу, их тут же расстреляли.

Около 7 часов в гетто стали въезжать спецмашины, в них загоняли узников гетто. В основном это были женщины, дети, старики. Благодаря распространившимся слухам, передаваемым из дома в дом, о том, что будут убивать только молодых женщин и мужчин, какой-то небольшой части узников удалось укрыться до начала погрома и спастись.

Стоял раздирающий душу крик. Тех, кто отказывался лезть в машину, расстреливали на месте. Груженные несчастными жертвами «черные вороны» двигались по направлению к «гребле», ко рвам. Кровавая жатва набирала силу.

Что было там, за «греблей», рассказал единственный оставшийся в живых свидетель — 12-летний Эдик Уэльский, рожденный от смешанного брака: матери-еврейки и отца-белоруса. Отцу удалось буквально вырвать сына из рук палачей в тот момент, когда он, уже раздетый, у края рва ждал своей участи.

Всех заставляли раздеться догола. Убивали из пулеметов, трупы сбрасывали в ров. Если пулеметная очередь допускала «пробелы» и огонь не прошивал всех подряд (чаще всего это были дети), их сбрасывали живыми в ров вместе с убитыми.

Рассказывали, что немец-шофер, потрясенный увиденным, потерял сознание, упал в обморок. Его тут же на «боевом посту» сменил шофер из местных жителей и вполне успешно выполнял свою работу. Не буду называть его фамилию. У него есть дети, внуки, правнуки. И умер он благополучно, в своей постели и был похоронен с почестями.

И еще рассказывали, что уже после погрома местный полицейский Сашка Жданович, верный подручный фашистских карателей, ходил по местечку и похвалялся, что ему посчастливилось поучаствовать в погроме и быть свидетелем предсмертных мук своих соседей и знакомых. С особой кровожадностью он смаковал подробности гибели молодых девушек, которых хорошо знал.

До глубокой ночи захлебывались пулеметы, потом стали слышны редкие выстрелы, а на рассвете наступила мертвая тишина в буквальном смысле этих слов.

Что же было с нами в тот скорбный день, в те трагические часы? Что творилось в нашем доме? Дедушка с бабушкой, умудренные трагическим опытом прожитых лет, понимали, что нас ждет, что нам предстоит. Они готовились принять достойно свою смерть. Лихорадочно, неловкими движениями старческих рук надели заранее заготовленные саваны. Поверх натянули свои повседневные одежды и, повернувшись лицом к востоку, творили молитву. Спокойно, покачиваясь, они молились под гул машин, увозящих жертвы на расстрел, под их предсмертные стоны и крики... Потрясенный происходящим, дед произнес кощунственные слова:

— Роза, Бога нет.

— Как? — ужаснулась тетя Роза.

Старый человек, у края могилы, у разверзшейся бездны, глубоко-верующий — и сказать такое...

— Был бы Бог, он не допустил бы этого, не позволил, — ответил дедушка.

Нам, своим детям и внукам, он приказал спрятаться в погребе. Тетя Зелда уговаривала его и бабушку укрыться вместе с нами. Они наотрез отказались.

— Мы вас прикроем, мы вас спасем. Нас они не тронут, зачем им старики, они на нас пули пожалеют, — твердил дед.

Когда мы все укрылись в погребе, дед, собрав последние силы, придвинул на крышку погреба кухонный шкафчик. И тут же в дом ворвались каратели — немцы и полицаи. Мы отчетливо слышали немецкую и русскую речь. По топоту ног, раздававшемуся над нашими головами, мы предположили, что их было человек пять-семь.

— Нас здесь двое, — сказал дед, — больше здесь никто не живет.

— Да, да, — подтвердил полицейский, — только эти два старика.

Он, конечно, знал, сколько семей живет в этом доме и, очевидно, догадывался, где мы спрятались. В тот момент он спас нас от смерти. Мы, сидящие в погребе, не знали его имени и никогда уже не узнаем, потому что, выжив тогда, узники из погреба вскоре погибли в Минском гетто. Уцелею только я одна из тех пятнадцати человек, и первым моим спасителем был тот безвестный полицейский.

Дедушку с бабушкой вывели во двор. Мы отчетливо слышали шорох их, не отрывающихся от пола, шаркающих старческих ног, обутых не по сезону в валенки с галошами. Дстойно и спокойно переступили они порог своего дома, закрыли за собой дверь. В свой последний час они были убеждены, что исполнили человеческий долг перед миром и перед людьми, родили и воспитали достойных детей и, как им казалось, смогли спасти их от неминуемой гибели.

В кузов машины сами они взобраться не смогли. Слишком стары и немощны были. Дабы не утруждать себя, каратели расстреляли их тут же во дворе у забора. Мы только услышали два отрывочных винтовочных выстрела. Назавтра их тела свезли в общую братскую могилу, где они и нашли свой вечный покой.

Ров тем временем заполнился. Его засыпали землей. Очевидцы рассказывали, что еще несколько дней пропитанная кровью земля стонала и шевелилась. Постепенно все успокоилось, только стаи ворон творили надо ровом свою поминальную молитву.

Незадолго до рассвета, когда замолкли пулеметные очереди, не стали слышны единичные винтовочные выстрелы и в местечке наступила хотя и жуткая, но все же сулящая спасение тишина, мы приняли решение выйти наружу. Общими усилиями, упираясь головами в крышку погреба изнутри, сдвинули кухонный шкафчик, открыли крышку и поодиночке бесшумно вылезли наверх, мысленно прощаясь с домом. Под покровом темноты вышли к огородам, которые вели к небольшой речушке. Рассыпавшись в цепочку, перешли ее по хрупкому дощатому мостику и направились в сторону леса. Добрались до опушки. Немного отдышавшись и отдохнув, посоветовались и решили двигаться в сторону Минска. Шли ночью по краю леса, боясь высовываться. Расстояние от Узды до Минска — 70 км. Самому младшему путнику, моей сестричке Берточке, было пять с половиной лет. Она шла молча, спокойно, стойчески перенося голод и холод, не издавая ни звука.

МИНСК, «МАЛИНА»

В Минск пришли на третьи сутки. В тот же день оказались в Минском гетто.

Разместили нас: тетю, маму, меня, Нину и Берточку — в многоквартирном доме по ул. Ратомской, в маленькой проходной комнатухе площадью около трех квадратных метров. Там стояла

старая никелированная кровать с панцирной сеткой, без матраца, покрытая грязным байковым одеялом, и продавленная раскладушка. Соседи по жилью, устроившиеся более «комфортно», сказали, что нам повезло, так как под кроватью находится так называемая «малина» (так в гетто называли вырытые под полом укрытия, где прятались от погромов). Вскоре представилась печальная возможность опробовать эффективность этого укрытия. Где-то на пятые сутки нашего пребывания в гетто в дом вбежала взволнованная женщина с ребенком на руках и сообщила, что в гетто въезжают машины с эсэсовцами, вот-вот начнется погром. Насмерть перепуганные жильцы дома быстро отодвинули кровать и стали спускаться в «малину». Предупредили детей: ни звука, ни плача, иначе они погубят всех и сами погибнут. В укрытие, рассчитанное на 5-6 человек, забилось человек 10-12, среди них маленькие дети, старики. Стояли, прижатые друг к другу. Затекало тело, пересыхало во рту, никто не менял позу, да и было это невозможно. Берточка стояла молча, плотно прижавшись к маме, только невидимые никому слезки текли из ее глаз. Она потом сказала маме, что плакала молча.

Так мы простояли весь день и всю ночь, чутко, как загнанные в западню звери, прислушиваясь к малейшему звуку, шороху, шагам, исходящим из внешнего мира. Но никто тогда в дом не вошел, не было слышно выстрелов. И утром мы вышли из укрытия. На сей раз была ложная тревога, но и генеральная репетиция на выносливость перед предстоящим настоящим погромом.

Этот погром фашисты учинили в Минске 7 ноября, У нас уже был навык, мы снова спрятались в «малину». На сей раз судьба была к нам милосердна — мы уцелели.

Приближалась зима, холодная и голодная. Переживем ли мы ее? Но в гетто не живут будущим, живут одним часом, почти без надежд. Как вырваться из западни, в которую мы вновь попали? Что творится в большом мире, отгороженном от нас колючей проволокой, сторожевыми вышками, жестокими запретами, расстрелами, погромами?

В гетто проникали обнадеживающие слухи: наша армия остановила наступление немцев под Москвой. В лесах формируются партизанские отряды. Но как выйти на связь с ними, как бежать из гетто? Об этом шли постоянные разговоры. Мы, дети, не по годам повзрослевшие, ловили каждую весточку из той, другой жизни, что за колючей проволокой.

Нас волновала судьба папы. Мы о нем ничего не знали. Когда после погрома в Узде мы вышли из укрытия, мама пробралась в сарай, где прятались отец и дядя Борис, окликнула их, но никто не отозвался. Их там уже не было. Обнаружили их немцы и расстреляли или им удалось бежать?..

ТРУДНАЯ ДОРОГА ИЗ ГЕТТО В ГЕТТО

Земля слухами полнится, проникали они и к нам за колючую проволоку. Мы узнали, что несколько еврейских семей высококвалифицированных специалистов, в том числе и семью моего дяди, во время узденского погрома не расстреляли. Их оставили для обслуживания оккупационных властей. Узнав об этом, мама приняла отчаянное решение — отправить нас с Ниночкой в Узду к дяде. Какой материнский инстинкт двигал ее поступком? Как она могла решиться оторвать от себя своих несовершеннолетних детей (мне не было тринадцати, а Ниночке одиннадцати) и бросить из одной страшной бездны в другую ради возникшей вдруг иллюзии спасения, уму непостижимо. Но она все взвесила, все рассчитала: в гетто мы все равно обречены, а если нам удастся добраться до Узды и влиться в семью дяди, появится надежда, пусть маленькая, призрачная, но надежда. В холодную ноябрьскую ночь мама вывела нас из гетто. Интуитивно нащупав наиболее безопасное, неохраняемое место в проволочном заграждении, она подвела нас туда, приподняла колючую проволоку, при этом изранив руки в кровь, и вытолкнула наружу. (Как мы смогли спокойно распрощаться с мамой и пойти навстречу неизвестности — мне непонятно и сейчас.)

Мы шли, взявшись за руки, по обочине дороги, полураздетые и полуразутые. Голодная спазма сжимала желудок, мы дрожали от холода, но спокойно шли к своей цели. Какой ангел-хранитель берег нас на протяжении 70-километрового пути от Минска до Узды? Что спасало нас? Возможно, то, что, светловолосые и голубоглазые, мы мало походили на еврейских детей, а, возможно, и то, что, будучи по-детски наивными и беспечными, не представляли себе всей меры опасности, которая подстерегала на каждом шагу.

В деревню Жмаки, что неподалеку от д. Могильное (теперь д. Неман), пришли поздно вечером. Идти дальше не было сил — мы слабели от голода и холода. К ночи подмораживало, а одеты мы

были легко, обуты в прохудившиеся ботинки. Хотелось согреться, немного отдохнуть. Но проситься на ночлег было рискованно.

Тем временем мы прошли через всю деревню. Она как бы вымерла: ни прохожих, ни зажженных в окнах огней. У крайней избы, учуяв незнакомых путников, вдруг залаяла собака. На лай выглянула за калитку хозяйка. Это была пожилая женщина, закутанная в бурый суконный платок в белую крупную клетку.

— І куды ж гэта вы ідзеце дзяўчынкі, вы яурэчю? — спросила она.

— Да, мы еврейки, — доверившись, простодушно ответили мы.

— Ідзіце хуценька у хату, пакуль ніхто не бачыць і нікога няма на вуліцы.

Она ввела нас в дом. За столом, покрытым белой льняной скатертью, сидел хозяин дома. Она шепнула ему что-то на ухо. Он сочувственно предложил нам разуться и просушить обувь у печки. Мы присели на лавку у стола. Топилась русская печь, дружно трещали сухие дрова. В печи в чугушке варилась картошка на ужин.

— Не запальвай лучыны, а дзяцей пасадзі на печ, там іх пакармі, а я выйду на вуліцу папільную, каб ніхто не зайшоў у хату, — распорядился хозяин дома.

Какой вкусной была горячая отварная картошка с салом и домашняя простокваша! Нам казалось, что вкуснее мы ничего никогда не ели. Отогревшись и отдохнув, поблагодарили хозяйку за ее доброту и собрались уходить.

— Куды ж вы, дзеткі, нанач гледзячы пойдзеце? Не, не пушчу я вас, мяне Бог пакарае, значуеце ў нас. А раненька, чуць свет, пойдзеце. Можа, дзе і мае дзіця хто-небудзь прыгрэе, — причитала эта добрая женщина, наша спасительница.

Она рассказала нам, что у них есть единственный сын, до войны он учился в военном училище под Москвой. Последнее письмо от него они получили в начале июня. Что с ним теперь, где он и жив ли, они не знают.

Нам постелили на печи. Согревшись и забыв обо всем на свете, мы тут же уснули. А хозяйка наши всю ночь не спали, стерегли наш сон. Разбудили нас рано, в пятом часу утра. Уже топилась печь и пеклись блины. Нас покормили и стали собирать в дорогу.

Как не хотелось уходить из этого доброго теплого дома, но надо было идти, пока не рассвело, мы спешили. Нас вывели за калитку, хозяйка дома простилась с нами, молча перекрестила нас...

Прошло много лет. К сожалению, я не знаю ни имени, ни фамилии этой женщины. Разве могло мне тогда прийти в голову спросить ее об этом? Запомнилось название деревни — Жмаки. Его я запомнила на всю жизнь.

Так хочется надеяться, что состоялась высшая справедливость и воздалось этим людям за добро их: вернулся с войны сын целым и невредимым, народились внуки... А эту тихую деревушку, что притаилась на берегу Немана, все беды и напасти обходят стороной.

УЗДА, ГЕТТО

В Узду мы пришли в тот же день вечером. Была середина ноября. Хорошо запомнила, что в тот вечер был яркий солнечный закат и лучи заходящего солнца слепили глаза прохожим, идущим нам навстречу. Поэтому мы видели их хорошо, а они нас могли и не разглядеть. Мы спокойно шли по направлению к Ленинской улице, к дому моего дяди, читая объявления, расклеенные на стенах домов. Они гласили: за укрытие евреев виновные и члены их семей будут приговорены к смертной казни.

Было страшно. Мертвая улица, опустевшие дома, ни прохожих, ни знакомых, только множество жалобно мяукающих кошек, бредущих по пустынным улицам в поисках крова и своих исчезнувших хозяев.

Мы поняли, что нам надо возвращаться назад в Минск, в гетто, к маме. Где-то на миг обрадовались — снова будем вместе. Но вернемся ли? Сумеем ли еще раз пройти эту мучительную дорогу и уцелеть? А если вернемся, как будет огорчена мама, что не сбылась ее надежда на наше спасение. Но мы решили вернуться, иначе из-за нас погибнут уцелевшие и мы вместе с ними.

Страх, усталость, желание отогреться и отдохнуть перед обратной дорогой взяли верх, и мы постучали в дверь.

Нам открыл дядя Мордух. Овладев собой после минутной растерянности, он приказал нам быстро спрятаться в погребе и сидеть там не шелохнувшись до принятия решения. Погреб, укрытие «малина» — для нас это уже стало привычным, обыденным образом жизни. Мы спустились в погреб. Тем временем состоялся семейный совет. Было решено посоветоваться с ближайшим соседом. Дядя понимал, что, спрятав нас, он подвергает смертельному риску не только себя и свою семью, но и остальные еврейские семьи, оставленные немцами пока в живых.

— Что бы ты сделал, Исаак, если бы к тебе пришли уцелевшие после погрома две племянницы?

— Я бы их немедленно отправил назад, туда, откуда они пришли. Ты понимаешь, чем ты рискуешь? Нас всех немедленно расстреляют, как только об этом станет известно. А станет известно непременно. Шило в мешке не утаишь.

Но дядя Мордух поступил иначе. После бессонной ночи он принимает отчаянное решение: пойти к немецкому бургомистру и просить его о милости. Он скажет, что к нему пришли уцелевшие, не погибшие в погроме племянницы, выгнать их из дома, отправить назад в Минск, а это означает — своими собственными руками отдать их в руки смерти, он не может. Он верит в великодушие бургомистра, надеется на его милость... В случае отказа он готов со своей семьей разделить участь племянниц, какой бы суровой она ни была. С тем и пошел к бургомистру.

Разговор состоялся без переводчика. Дядя хорошо знал немецкий язык: в годы первой мировой войны он почти два года находился в плену в Германии.

— Пусть останутся. Только одна пусть живет в вашей семье, другая — в соседней. Они разделят вашу участь, — таков был короткий ответ немецкого бургомистра на длинную тираду моего дяди.

Мы, укрывшись в погребе, ждали решения своей судьбы, а семья дяди, сбившись в клубок страха, в углу кухни, прямо над нами. Нам казалось, что мы слышим их тревожное дыхание. Надежды почти никакой. Время остановилось. А прошло между тем не более получаса. Открылась дверь, вошел дядя. Преодолев волнение, поднял крышку погреба и тихо сказал, обращаясь в черную бездну погреба:

— Дети, вылезайте. Вы пока спасены. — И рассказал о своем рискованном визите к бургомистру.

Не было шумной радости, мы хорошо понимали смысл этого «пока». Жизнь продолжалась. Нина осталась у дяди, а меня взяла к себе семья польских евреев, состоявшая из четырех человек: электромеханика Миши, обслуживавшего местную электростанцию, его жены — портнихи Нелли, и их двоих очаровательных девочек пяти и семи лет. В соседней комнате разместилась еще одна семья. Глава семейства тоже был электромехаником и тоже Миша, его жена, фрау Бася (так называли ее гестаповцы), очень красивая, молодая женщина, работала у немцев переводчицей.

Помню, как мы цепенели от страха, когда к фрау Басе заявлялся ее любовник, гестаповец Ричард, немолодой щербатый немец с угрюмым лицом. Он приходил обычно на ночь, когда муж фрау Баси отправлялся дежурить на электростанцию. Проходил мимо нас (мы жили в проходной комнате), опустив голову, не здороваясь. Нырнув в спальню, задерживал за собой ситцевую цветастую занавеску. Чтобы не прогневить всесильного пришельца, мы бесшумно укладывались спать. Тетя Нелли не спала всю ночь: от гестаповца, как говорила фрау Бася, можно было ожидать сюрпризов и неожиданностей. Однажды он принес большой узел с вещами: кофты, платья, детские курточки. Все это было награблено в гетто. Разложив вещи на столе, он деловито и сосредоточенно объяснял тете Нелли, что надо удлинить, что укоротить, где перешить пуговицы. Было страшно наблюдать, как спокойно, со знанием дела он копался в этих более чем скромных вещах, хозяева которых совсем еще недавно были живы.

И вдруг среди этого барахла я увидела два наших платяца из красного сатина в мелкий горошек, пошитые нам мамой перед самой войной. Мы не успели их ни разу надеть.

— Это наши платяца, — вырвалось у меня.

Тетя Нелли с ужасом посмотрела на меня. Я все поняла, сразу овладела собой и незаметно выскользнула из комнаты. Гестаповец, к счастью, ничего не заметил.

В ту страшную зиму в опустевшем после погрома местечке шла своим чередом оккупационная жизнь, работали все службы, обеспечивавшие немецкий военный режим. Дядя Мордух и старший брат Самуил работали в местных сапожных мастерских, тачали новую и чинили старую немецкую обувь. К ним был приставлен гауптман Цельнер, адъютант бургомистра, по специальности художник. Это был удивительный человек, абсолютно бесстрашный и добрый. Он глубоко сострадал всем несчастным, всем жертвам террора. К моему дяде и брату он почему-то питал особую симпатию, категорически запрещал им носить «латы» в его присутствии. «Они унижают человеческое достоинство», — говорил Цельнер.

Он щедро делился с братом своим военным пайком, а иногда отдавал его полностью. Рискуя собственной жизнью, поддерживал и помогал нашей семье, вплоть до отправки в Минск.

СНОВА МИНСК, СНОВА ГЕТТО

28 февраля 1942 года нас всех по распоряжению военного коменданта вывезли в Минское гетто. Все вернулось на круги своя. Мы снова обречены на уничтожение. Состоялась радостно-печальная встреча с мамой, тетей Зелдой. Как изменились они за эти четыре месяца! Их трудно было узнать. Особенно сдала тетя Зелда. В свои неполные сорок лет — изборожденное морщинами отечное лицо со всеми признаками голодной дистрофии. Да и другие узники изменились за эту зиму.

Печать обреченности, отчаяния легла на истощенные лица взрослых, дети напоминали старичков. И вовсе не нужны были проводочные заграждения, запреты на выход. Они и без того не смогли бы раствориться в общей толпе — одетые в лохмотья, сломленные люди с лихорадочным блеском провалившихся голодных глаз.

Привезли нас из Узды 28 февраля 1942 года, а 2 марта — очередной погром. Очевидно, это было предусмотрено узденским гестапо — подбросить нас к очередной карательной акции.

В этом погроме погибла старшая дочь дяди Мордуха — Сима. Бедный дядя Мордух... Он так самоотверженно спасал нас, своих племянниц, от гибели. Не воздалось ему за его доброту и самопожертвование. Свершилась высшая несправедливость. Симе было неполных шестнадцать. Красивая, юная. Попад в Минское гетто, она не успела адаптироваться к новым условиям, нелепо попала в душегубку. Тетя Роза была неутешной. Погибла ее любимая дочь. Она глубоко и тяжело страдала, жизнь для нее потеряла смысл.

По распоряжению немецкой комендатуры и юденрата все взрослые узники и дети с двенадцати лет должны были ходить на работу. Колонны формировались в гетто и в сопровождении вооруженной охраны в 7 часов утра выходили за ее пределы. Я держалась тети Зелды, мама ходила на работу с Ниночкой.

ТЕТЯ ЗЕЛДА

Скромная, добрая, тихая тетя Зелда. Бескорыстие во имя родных и близких было ее сутью, смыслом всей ее жизни. У нее не было своих детей. Все тепло и щедрость своего сердца она отдавала нам, своим племянницам. Мужа своего она потеряла раньше, на пути из Узды в Минск. Он сумел спастись после узденского погро-

ма, бежал, но неподалеку от деревни Могильное дядю Бориса опознал местный учитель и выдал полиции. Там его и расстреляли. (Уже после войны вернувшийся с фронта племянник нашел место гибели своего дяди, привел в порядок холмик на краю деревни, поставил памятник.)

Нашу колонну, состоявшую в основном из женщин, стариков и детей, гоняли на работу на товарную станцию. Брели узники нестройными рядами посредине улицы под присмотром одного-двух гестаповцев. Длинная изнуряющая дорога тянулась от нынешней Республиканской, через Московскую и дальше на товарную станцию к железнодорожным путям. Самовольный выход из колонны или присоединение к ней в неположенном месте карались смертью. Когда прибывали на место, нас вооружали кирками, лопатами, ломami, метлами. Отводили участок пути, который к определенному времени мы должны были расчистить.

Передышка, перекур безжалостно наказывались. Нашим постоянным надсмотрщиком был некто Миллер, высокий, тощий гестаповец с маленькой змеиной головкой на длинной шее. Отличался он изощренной жестокостью. Выдавая орудия труда, самый тяжелый инструмент старался вручить наиболее изнуренному. Доходило до того, что Миллер определял, на какую высоту следует поднимать лом или кирку при взмахе. Если выбранная жертва — голодный старик или подросток — не достигала «нормы» взмаха, несчастный жестоко избивался. Невзлюбил он и тетю Зелду. Она работала непосредственно под его присмотром, он следил за каждым ее движением, заставляя бессмысленно, до полного изнеможения долбить землю вокруг шпал. Отходил от нее только тогда, когда она, обессиленная, падала наземь. Возвращаться в гетто у нее не было сил, и мы вели ее под руки. На следующий день начиналось все сначала. Мне было нестерпимо жаль тетю Зелду, невыносимо было смотреть на ее страдания. Она глазами, жестами показывала, чтобы я не подходила к ней близко, когда Миллер творил над ней экзекуцию: боялась, чтобы он не догадался, что я ее племянница, и не стал измываться надо мной. Когда, изнуренная голодом, я заболела тяжелым авитаминозом, тетя Зелда не покидала меня. Она находила в себе силы ежедневно после работы приходить ко мне в так называемый геттовский госпиталь, чтобы приободрить и поддержать, принести неведомо каким образом добытую скромную передачу. Я бывала подчас несправедлива к ней, обижала ее, тяжелые угрызения совести мучают меня всю жизнь.

Зверствам Миллера не было предела. Мимо участка железнодорожного пути, который мы чистили, постоянно двигались на восток товарные составы. Из раздвигаемых вагонных дверей выглядывали сытые, самодовольные немецкие солдаты и офицеры. Надо было видеть, с какой брезгливостью и высокомерием они глядели на нас. Усевшись на вагонные полы и свесив наружу ноги, они смачно расправлялись с содержимым своих аппетитных котелков.

Вспоминаю случай. Старик из нашей колонны позволил себе поднять с земли выброшенную немцем корку от голландского сыра. Миллер был начеку. Он тут же подбежал к старику и ударил его лопатой по голове. Старик упал навзничь под дружный хохот немецких солдат. Домой до гетто его довели, назавтра на работу он не вышел.

Кормили нас раз в день. Обед состоял из пол-литра баланды и 100 граммов эрзац-хлеба. Рабочий день продолжался до шести вечера. После шести колонны возвращались.

«Счастливики» несли в гетто чудом раздобытые горсточку муки, по несколько картофелин, а кто и мешочек картофельных очисток. Обычно мешок связывали кисетом и несли на спине. Зачастую даже эту жалкую добычу гестаповцы запрещали вносить в гетто. Мешок вспарывали и содержимое высыпали на мостовую. Если же «добычу» удавалось пронести, из картофельных очисток готовили «изысканное блюдо», так называемый форшмак: отваренные очистки пропускали через мясорубку и заправляли рыбьим жиром, случайно найденным в старых кухонных шкафчиках прежних жильцов.

Вспоминаю жаркий июльский день 42-го. После трудового дня узники понуро плелись в гетто. Вдруг наша колонна застыла, замерла, как загнанный зверь, учуявший смертельную опасность. Что произошло, что нарушило ее привычное движение? По рядам поползли слухи: в гетто очередной погром или облава. Но обычно погромы начинались на рассвете. Вскоре все выяснилось. Нарушила движение колонна, идущая впереди: узники несли на руках труп убитой девушки. Остановка произошла из-за того, что приходилось время от времени меняться, труп переходил из рук в руки, многим эта ноша была не под силу. Это и приостановило движение. А убили девушку за то, что во время обеда она попросила добавки.

— Ты хочешь добавки, — получай! — заявил гестаповец-надсмотрщик и выстрелил девушке в рот. Кровь залила ей лицо, зас-

тыли искаженные ужасом глаза, она стала медленно оседать. Это рассказали нам очевидцы уже в гетто. Я видела, как эту горестную ношу донесли до дома, где располагался юденрат. Собрались люди. Никто не плакал, все молчали.

— Родителям повезло, — сказал старик, стоявший рядом со мной, — они погибли раньше и не увидели этого.

После рабочего дня я возвращалась в гетто совершенно обессиленной, не раздеваясь валилась на постель и мгновенно засыпала. Разуться я не могла: доставшиеся мне сапоги были на одну ногу и, натянув их однажды, я не снимала их по нескольку дней. Обувать их по утрам было мучительно трудно, можно было опоздать на работу.

Летом 42-го еще были живы и мама, и сестрички, и тетя Зелда, и дядя Мордух с семьей. Но и взрослые, и дети уже не питали никаких иллюзий на свое спасение. Все понимали, что обречены. Правда, те, кто не был обременен заботой о старых и немощных, малолетних детях, искали пути к спасению. Мы уже знали, что в лесах действуют партизанские отряды, а в гетто есть подпольная группа. Мы ловили каждую весточку, каждый слух, пытались нащупать путь, который выведет нас на волю, вырвет из рук смерти. В гетто все, как могли, держались семьями. Мы — тоже. Мои братья Самуил и Саша каждый день приносили обнадеживающие вести, а дядя Мордух тачал им сапоги для предстоящего побега.

ПОГРОМ...

Утром 28 июля наша колонна в положенное время вышла за ворота и направилась к месту работы. Но тут все увидели, что усиленные наряды гестаповцев и полицаев окружают гетто. Не хотелось думать о самом страшном. Однако не успели мы пройти и ста метров, как по колонне пронесся шепот: в гетто погром. Многие рабочие колонны задержаны, их не выпустили, а успевших выйти заворачивают назад. Стали слышны выстрелы, крики, лай собак, зловещий рев машин. Наша колонна тем временем двигалась к месту работы, по непонятной случайности ее не вернули назад в гетто. Меня охватила тревога: там, в гетто, мама, Ниночка, Берточка. Что с ними? Смогут, успеют ли укрыться? Как на сей раз распорядится судьба? Я уже не раз расставалась с мамой, сестричками, но почему-то всегда верила и надеялась, что встретимся и бу-

дем вместе. Так и было. Пока судьба нас хранила. Но на сей раз страх и предчувствие беды не покидали меня. Я не увижу их больше, они не успеют укрыться, они погибнут.

Погром длился трое суток. Трое суток ада. Трое суток нас не пускали в гетто. Я уже не сомневалась, все мои погибли — так говорило мне сердце. На мгновение только вспыхивал трепетный лучик надежды: а вдруг? Но надежда сменялась отчаянием... Скорее бы в гетто, как мучительно это неведение... Скорее бы узнать всю правду, какой бы горькой она ни была.

Нас привели в гетто на четвертые сутки. Уцелевшие встречали у входа возвращавшиеся колонны. Моей мамы, моих сестричек среди них не было...

БЕРТОЧКА

Убитые горем, мы с тетей Зелдой вернулись домой, в свою опустевшую, осиротевшую комнату. И, о чудо! На постели, свернувшись калачиком, лежала Берточка. Трое суток пряталась она за домом, за водосточной трубой, ни звуком, ни словом, ни движением не выдав себя. Трое суток, а ей было ровно 6 лет. Маму и Нину увели, а ее не заметили. Когда утихли выстрелы и воцарилась тишина, она вернулась в дом, еще полдня пролежала под кроватью и, окончательно убедившись, что опасность миновала, измученная голодом и жаждой, выбралась из-под кровати, легла в постель и уснула. Мы разбудили ее. Она посмотрела на нас безучастными глазками. Слабеющим голосом попросила пить и тут же снова уснула.

Нас осталось трое. Мы тогда не погибли в том страшном погроме.

Добрая тетя Зелда. Она старалась заменить нам маму. Я по-прежнему ходила с ней на работу. Берточка оставалась в гетто. Но что-то надломилось во мне. Не стало мамы. Я не могла смириться с этим. Жизнь потеряла смысл, порой наступало абсолютное бесстрашие, я не боялась погибнуть в погроме. Выходя из гетто вместе с рабочей колонной, немного помаячив перед глазами у Миллера, срывала «латы» и, пересекая железнодорожные пути, переползая под вагонами или обходя составы, выходила в город. Я уже знала расписание поездов, время, когда можно незамеченной пройти, минуя железнодорожную полицию, и оказаться в относитель-

ной безопасности. Я бродила по улицам города в районе товарной станции, где мне были знакомы все переулки и перекрестки. Что я искала и на что надеялась, не знала сама.

Никто на меня не обращал внимания. Жестокий, бездушный город, наводивший ужас. Эсэсовцы, гестаповцы, полицаи. Только изредка встречались люди в штатском, в основном мужчины, город без женщин и детей — мертвый город.

Я бессмысленно бродила по улицам, не подозревая, какой опасности себя подвергаю. К концу рабочего дня я снова возвращалась в свою колонну и вместе с нею в гетто.

Однажды я забрела на нынешнюю улицу Толстого. Изнемогая от голода и усталости, вошла во двор старого деревянного дома, показавшегося мне добрым и уютным, и постучала в дверь. Мне открыла женщина средних лет с милым, добродушным лицом.

— Заходи, заходи, детка, не бойся. Мы здесь живем вдвоем с дочерью. Ее зовут Зина. Она работает на кухне у немцев, моет посуду. А меня зовут тетя Валя.

Вскоре появилась Зина, красивая девушка с большими испуганными глазами. Я им все рассказала о себе. Они ко мне отнеслись сочувственно, чем смогли покормили, дали с собой, пригласили приходить. Я стала бывать у них часто, почти ежедневно, подвергая и себя и их смертельной опасности. Мы привязались друг к другу.

Вспоминаю, как какое-то время я перестала у них бывать. Миллер стал за мной следить особенно внимательно, не выпускал из поля зрения. Я, очевидно, чем-то вызвала его подозрение. Тетя Валя и Зина искренне переживали, решили, что я погибла. Когда же я наконец появилась после долгого отсутствия, они были счастливы и встретили меня со слезами на глазах.

— А мы думали, что тебя уже нет в живых, как хорошо, что ты пришла, — причитали они.

К сожалению, вскоре мне суждено было расстаться с ними навсегда. Помню, стоял горячий августовский день. Я, как обычно, легко и незаметно для охраны ушла с работы. По шпалам, пересекая железнодорожные пути, миновала самый опасный участок и направилась на улицу Толстого. Я была уже почти у цели, когда почувствовала, что за мной кто-то идет. Я обернулась и встретилась глазами с эсэсовцем, который на почтительном расстоянии следовал за мной. Никаких сомнений не было — он преследует меня.

Что делать? Бежать было рискованно. Мгновенно сработал инстинкт самосохранения, и я принимаю решение. Во дворе у моих знакомых стояли дощатые туалеты — надо незаметно прибавить шагу, спрятаться там, пока эсэсовец не успел войти во двор. Так и сделала. Только успела закрыться изнутри, как он объявился. Я сквозь щели между досок наблюдала за ним, затаив дыхание и окаменев от страха. Сердце так колотилось в груди, что казалось, он слышит мое сердцебиение.

Дом состоял из трех квартир с тремя отдельными входами. Вначале он постучал в первую дверь. Ему открыли, он вошел, но вскоре вышел. Затем постучал в дверь к моим знакомым. Ему открыла тетя Валя. Мне казалось, что там он оставался вечность. Наконец он вышел и направился к третьей двери, которая была закрыта на массивный наружный замок. Постояв с минуту, бросив взгляд на туалеты, он быстрыми шагами удалился. Спустя полчаса я вышла из укрытия, зашла к своим друзьям. Тетя Валя была смертельно напугана. Ничего не объясняя, эсэсовец обследовал всю квартиру: заглянул в шкаф, под кровати, в кладовку. Уходя, спросил: не заходила ли девочка, она, мол, сбежала из гетто.

Мои добрые друзья, какой опасности я их подвергала. Они попросили меня больше не бывать у них. Я сама это понимала и перестала к ним заходить. Но с работы я по-прежнему уходила и бродила по городу...

ЕЩЕ ОДНА ЗИМА

С наступлением осени тетя Зелда совсем занемогла: тяжелая голодная дистрофия. На работу она уже не могла ходить. Отечное, одутловатое лицо, отечные ноги, как подушки. Она лишилась ежедневной рабочей пайки — пол-литра баланды и 100 граммов эрзац-хлеба. Я ходила на работу одна. Случалось, приносила немного картофельных очисток, иногда на раздобытую немецкую марку на геттовском толчке покупала ломтик эрзац-хлеба и, счастливая, несла его домой. Помню, на семейном совете решили продать на толчке случайно уцелевшее приличное зимнее пальто тети Зелды. Она могла обойтись без него, так как все равно уже не выходила и не вставала, а на вырученные деньги купить хлеба. Я так и сделала. Пальто продала, и даже за приличную сумму, и пошла прицениваться к хлебу.

Выбрала аппетитные душистые ломтики, стала рассчитывать. Но, увы! Оказалось, нечем. Пока я выбирала хлеб, деньги «увели». Пришла домой ни с чем. Всю ночь до утра проплакала от обиды. Тетя Зелда, мой добрый ангел, не ругала меня, утешала, как могла:

— Не плачь, это не беда, как-нибудь проживем.

Я тогда не представляла себе, насколько она серьезно больна, не понимала, что она уже обречена...

Она умерла в ночь с 3-го на 4 января 1943 года. Тихо, не издав ни звука, не позвав на помощь, боясь разбудить нас, потревожить наш сон. Я проснулась на рассвете, стала будить ее, она молчала...

Не стало тети Зелды. Как жить без нее, зачем? Как же мир может быть без нее, без ее доброты, тепла, всепрощения, жертвенности. Где высшая справедливость? Есть ли она на этой земле? Соседи сказали, что надо пойти в юденрат, зарегистрировать смерть, потом пришлют могильщиков.

Стояло холодное утро, и была странная тишина. Не было слышно привычных выстрелов: ни близких, ни далеких. Я подумала — это «утро молчания» по моей доброй, святой тете Зелде.

В юденрате женщина — регистраторша, привыкшая к подобным визитам, бесстрастно спросила:

— Фамилия, имя, отчество умершей, сколько ей было лет?

— Ей был 41 год, — ответила я.

— Иди домой и жди, мы пришлем людей по вашему адресу.

Я побежала домой, там оставалась Берточка, одна возле умершей тети.

Вскоре пришли могильщики, двое мужчин, безучастных и равнодушных к случившемуся горю. Они по-хозяйски ловко, будто делают рядовую работу, сбросили тело с раскладушки, сильно ударив головой о пол, и потащили, держа за ноги. Голова ударялась о доски, о порог...

Разрыдалась Берточка, я не плакала, я окаменела от горя. Никто из соседей не вышел из своих каморок. Нам запретили сопровождать эту горестную процессию. Мы с Берточкой остались одни, осиротев уже окончательно.

Через несколько дней ее забрали в геттовский детский дом. Она была истощена до предела: маленькая старушка с высохшим личиком. Когда мне удавалось что-нибудь раздобыть из еды, я мчалась к ней. Она встречала меня безучастно, была равнодушна ко мне и

к моим гостинцам. Но я все надеялась, что она поправится, я заберу ее и мы будем вместе...

15 января (хорошо помню тот день) мне особенно повезло: я достала кусочек свежей, сочной брюквы, купила на толчке горячий пончик. Счастливая, примчалась с гостинцами в детский дом, попросила пропустить.

— Ее нет, — сказали мне.

— А где она? — спросила я, недоумевая.

— Она вчера умерла...

— Тут какое-то недоразумение. Это неправда. Проверьте еще раз, — взмолилась я.

— Марголина Берта, шести с половиной лет, она вчера умерла, — скорбно, с сочувствием повторила женщина из регистратуры.

— Возьмите гостинцы, отдайте кому-нибудь. Это я Берточке принесла.

Медленно прикрыв за собой дверь, я вышла во двор, с минуту постояла и побрела по улицам гетто. Был холодный январский вечер. Стояли крепкие крещенские морозы, но мне не было холодно, мне не было страшно — все чувства и инстинкты покинули меня. Только одна мысль сверлила мозг: я осталась одна, совсем одна в этом чужом, холодном, огромном мире. Я никому не нужна в нем, да и мне он не нужен. Скорее бы все кончилось. Я бродила всю ночь. Никто не остановил меня, не задержал. К утру я пришла к дяде Мордуху, на Ратомскую улицу.

— Будешь жить у нас, — сказал дядя, — что будет с нами, то и с тобой.

Атмосфера в доме была внешне спокойной, но внутренне предельно напряженной. Тетя Роза была неутешной, гибель дочери окончательно подорвала ее здоровье. Самуил и Саша искали возможность вырваться из гетто. Две предпринятые попытки закончились неудачей, но они не смирились, нащупывали пути, надеялись.

Уверенности придал один случай.

По соседству с нами, через стенку, жили две молодые девушки, Аня и Лиза. Они работали подсобными рабочими в военной части и познакомились с бельгийцами, служившими в оккупационных войсках. Привлекательные молодые девушки нравились бельгийцам, и те стали бывать у них в гетто. К сожалению, их выследили. В гетто была облава, но девушкам удалось укрыть их в «малине».

Все обошлось, бельгийцам удалось оправдаться, отделаться строгим взысканием. Это их, отчаянных, однако, не испугало, они продолжали приходить в гетто. Наступающий новый, 1943 год решили встретить вместе со своими подругами. Вооруженные до зубов, они пробрались в гетто. Девушки накрыли праздничный стол, как того позволили их возможности, и устроили пир у смерти на краю, пир во время чумы, Самуил стоял в обороне, оберегая этот праздник любви и надежды. Но и бельгийцы, захмелевшие от принесенного с собой «шнапса», бдительности не теряли, знали, чем все это может кончиться.

Ровно в полночь устоявшуюся тишину новогодней ночи взорвала непрерывная пальба из ружей трассирующими пулями. «Это погром по случаю Нового года, — решили бельгийцы. — Мы вооружены, прятаться не будем, примем бой: сами погибнем, но и карателей уничтожим».

Слаба Богу, и на сей раз все обошлось, тревога была ложная. Как выяснилось, фашисты решили позабавиться: Новому году отсалютовали — развлеклись и узников гетто напугали до смерти.

В начале января наши девушки исчезли. Мы терялись в догадках, предположениях — живы ли они? Но вскоре Самуил принес добрую весть. Бельгийцы связались с партизанами, ушли в лес и вывели девушек.

Я по-прежнему выходила из гетто с рабочей колонной и, следуя своему внутреннему расписанию, интуитивно чувствуя безопасное время, ускользала из-под надзора эсэсовца-надсмотрщика, уходила в город. Я бродила по улицам без определенной цели, неизвестно зачем, надеясь неизвестно на что. Судьба хранила меня. Я пережила зиму, дождалась весны.

ТЕТКА СТЕФАНΙΑ

Помню, стоял удивительно теплый весенний день. После дождя яркое солнце растопило и согрело лужи, журчали ручьи. Это ласковое тепло чувствовалось сквозь прохудившиеся ботинки, заполненные просочившейся водой. Я брела по привычному маршруту, направляясь в сторону Суражского рынка. Здесь меня и заметила деревенская женщина. Она приехала в город из деревни, что под Раковом, раздобыть немного соли. Но об этом я узнала позднее. А тогда она незаметно подошла ко мне и шепотом сказала:

— Дзяўчынка, ідзі за мной, не адварочвайся і не спыняйся. Я бачу, ты — яўрэчка.

Видно было, как она волновалась. И мы прошли с ней метров сто, туда, где, в стороне от рынка, стояла ее подвода. Там было безопасное, безлюдное место. Прикрыв меня собою так, чтобы я не привлекала внимание редких прохожих, она продолжала:

— Паедзеш са мной, дзетка. Я цябе выратую. Але, запомні, нікому аб тым, што ты яўрэчка. Нават майму мужыку Кузьме нічога не кажы. Ён можа, калі вып’е, па п’янцы можа прагаварыцца. Нікому нічога не раскажвай, сама забудзь, хто ты. Людзі ўсялякія ёсць. Ты на яўрэчку не падобна — вочы ў цябе блакітныя, я цябе выратую.

Во всем ее облике, в умении участливо слушать было нечто непередаваемое, материнское, вызывающее абсолютное доверие. Я готова была пойти за ней на край света. Я все рассказала о себе, сказала, что с радостью поеду с ней, только мне надо о своем решении сообщить дяде в гетто.

Мы условились встретиться через час на том же месте. В течение этого часа мне посчастливилось повстречать знакомого мальчишку из гетто, который так же, как и я, бродил по городу в тщетных поисках возможности вырваться на волю. Он пообещал передать дяде о моем решении. Это облегчило мою задачу: мне не надо было пробираться в гетто с риском для жизни. Как я узнала впоследствии, он выполнил мою просьбу.

В назначенное время я пришла на место встречи. Тетка Стефания (так ее звали) уже ждала меня, мы сели в повозку и поехали. Благополучно выехали из города и по Раковскому шоссе направились к хутору, расположенному в восьми километрах от Ракова. Там жили мои хозяева.

Стояли последние дни апреля. Уже вовсю зеленели поля, цвели сады, пахло согретой солнцем землей. Свернув с шоссе на проселочную дорогу, мы окунулись в объятия по-весеннему нарядного леса, простиравшегося по обе стороны дороги. Особенно красивы были березы. Их ярко-зеленый убор дрожал и блестел на солнце. В природе все было разумно и гармонично. Станным казалось, что, соседствуя со смертью и горем, она не соучаствует в этом великом страдании. «Не может быть, — подумала я, — чтобы эти нежные хрупкие березки не чувствовали того же, что испытывала я».

— Трэба прыдумаць байку, дзе і адкуль я цябе ўзяла, хто твае бацькі, а пра гэта і пра ўсе, што з табою здарылася, нікому нічога

не кажы. Ты скажаш, што твае бацькі загінулі ў бамбёжку ў Мінску, ты засталася адна і жыла ў чужых людзей. А завуць цябе Зося, ці Соня, як хочаш сама.

Такую она сочинила версию моей судьбы, в которую я должна была вжиться и поверить. Обо всем этом мы в дороге и договорились.

Она привезла меня на хутор, в свой большой, можно сказать, новый, еще пахнувший смолой и свежей сосной дом. Он состоял из трех светлых комнат и кухни с отдельным входом. Познакомила со своим мужем, дядькой Кузьмой. Детей у них не было. Меня сытно и вкусно покормили. Напряжение и тревога оставили меня. Я расслабилась и уснула тут же за столом, не дойдя до постели.

Меня разбудили рано утром. Стояла весенняя страда, мои хозяйева на рассвете отправлялись в поле, а мне поручили работу по дому: истопить печь, поставить на день обед, убраться. Я старалась угождать моим хозяевам. У меня не все получалось так хорошо, как хотелось бы, но они терпеливо учили меня, и мне казалось, были мною довольны. Где-то к обеду, закончив свои домашние дела, я ждала возвращения с поля тетки Стефании. Время ожидания тянулось долго, картины пережитого всплывали перед глазами, возвращали меня в гетто, тяжелые воспоминания не давали покоя.

К вечеру с поля возвращались мои хозяйева. Доброта и внимание тетки Стефании вселяли надежду, что все образуется: мир не без добрых людей, кругом так много доброго и светлого, ради чего стоит жить. Но на следующий день начиналось все сначала, хозяйева отправлялись в поле, я оставалась одна. Я жаждала общения, людей, друзей. Меня пугало одиночество, преследовали страшные картины пережитого.

Так прошел примерно месяц. Я никак не могла отойти, изжить страх, распрямиться, напоминала запуганного, забившегося в угол зверька. Тетка Стефа видела все это, понимала меня и как могла выхаживала и отогревала.

— Ты падобна на запужанае птушаня з перабітымі крыламі, апраўляй крылы, выходзь на волю, ты ж такая ж, як і усе, запомні гэта, ты такая ж, як і ўсе, — учила она меня, билась о мою замкнутость и отчужденность, как рыба о лед. Я поняла, что обязана выйти из своего внутреннего заточения только для того, чтобы тетка Стефания одержала надо мной победу. Тем самым я отблагодарю ее за все то, что она делает для меня.

Я старалась забыть пережитое, не вспоминать о нем, мечтала о том времени, когда наконец закончится война. Но каким оно будет, это послевоенное время, я не представляла.

— Вот сёння, дзетка, ты зусім другая, прыгожая, вясёлая, такой будзь. Радуйся, радуйся ўсяму — сонцу, кветачкам, ты живеш, ты жывая і дзякуй Богу, — подбадривала она меня. Время брало свое и возвращало к жизни.

Наш хутор стоял довольно далеко от дороги, а ближайшие деревни отстояли от него почти на 5-7 километров. Кругом ни души, только отдаленные выстрелы, отчетливо слышимые в ночи, возвращали в реальность, напоминали о страшной войне.

Однако вскоре этот относительный мир и покой были нарушены. В расположенный вблизи от хутора амбар привезли беженцев из Орловской области — женщин, детей, стариков. Были среди них и подростки, мои ровесники. Их привезли в крытых грузовиках, кого в чем, полураздетых и разутых. Полицаи и эсэсовцы выбросили людей из машин, как скот, оставили и уехали.

— До особого распоряжения, — как объявил полицейский.

Каким и когда будет это распоряжение, никто не знал. Поговаривали, что трудоспособных отправят в Германию, а остальных... Допускались страшные домыслы.

Я сразу подружилась с беженцами, нашла среди них настоящих друзей и подружек, искреннее сочувствие старших к моей судьбе. Старалась как можно скорее сделать положенную мне работу по дому и уходила к ним. Мы вспоминали довоенное детство (оно казалось нам безмятежным и счастливым), мечтали о том времени, когда закончится война и мы снова сумеем вернуться в тот, казавшийся нам теперь идеальным, навсегда ушедший довоенный мир.

Крестьяне из окрестных деревень тоже вскоре прослышали про беженцев. Помогали им кто харчами, кто одеждой. Василию Жуковскому из ближайшей деревни Яцевщина подсказали, что среди них он найдет на лето няньку для своих малолетних детей. С этой целью и пришел на хутор. Я, как всегда, в послеобеденное время была среди своих новых подружек. Выбор пал на меня. Приняв меня за беженку, он спросил:

— Ты б хацела няньчыць маленькіх дзетак? У мяне іх двое: Коля — тры гады, і Верачка — паўтара гадочкі. Будзеш жыць з намі, есці тое, што мы ядзім, апраднацца ў тое, у што мы апранаемся. Што будзе з намі, тое і з табою. У абіду цябе не дадзім.

Мне так захотелось пойти с этим крестьянином в его деревню, понычть его деток, помочь по хозяйству... Так одиноко и тоскливо проходили мои дни на хуторе. Но я сказала дядьке Василью, что согласна пойти к нему в няньки только с разрешения моих хозяев. Я не могла обидеть тетку Стефанию, и если она не позволит, я от нее никуда не уйду. Заручившись моим согласием, дядька Василь решил ждать.

— Мне спадабалася ваша дзячынка, можа б, вы яе адпусцілі на месяцы два-тры да мяне ў нянькі, а на зіму яна назад вернецца да вас? — деликатно спросил он, когда мои хозяева вернулись.

Тетка Стефа отозвала меня в сторону и шепотом сказала:

— Я думаю, што табе трэба ісці да яго. Бачу я, ён чалавек спакойны, хорошы. Веска, людзі. Сярод людзей лягчэй схавацца, выжыць. І гора тваё памаленьку забудзецца у працы, што ты тут адна цэлымі днямі. Толькі, глядзі, нікому не кажы, хто ты есць на самой справе, людзі ўсялякія есць, не спадабаецца, вернешся назад да мяне. Я цябе заўсёды прыму.

Мы тепло расстались. Я направлялась к своим новым хозяевам, навстречу новой жизни, новой судьбе. Что она мне готовит? Шли мы не спеша, пришли в деревню в сумерки.

ДЯДЬКА ВАСИЛЬ И ТЕТКА АНЦЯ

— А вось і хата мая, прашу пан!, — указал дядька Василь на крытую соломой убогую хатку с маленькими слепыми окошками. Хата была на две половины, разделенные сенями. В передней, или парадной, жили бабка Марчиха, мать моего хозяина, со своим взрослым неженатым сыном Иваном, в задней — дядька Василь с семьей.

— А вось і мая жонка Анця, знаёмцеся, — сказал дядька Василь.

Мне навстречу шла красивая молодая женщина и приветливо улыбалась. На руках она держала полугодовалую девочку, светловолосую, кудрявую, с голубыми глазками, похожую на ромашку, а трехлетний Коля держался за ее широкую домотканую юбку.

— а Гэта нашы дзеткі, Верачка і Коля, а тэта нашы цыпляткі (тут же вокруг тетки Анци на земляном полу рябая квочка водила семейство свежевылупившихся, как маленькие солнышки, цыплят). Завуць мяне Анця. Я думаю, мы з табой пасябруем. Ты, відаць,

гарадская будзеш, сялянскую працу мала ведаеш. Але захочаш навучыцца, мы цябе навучым. А пакуль што ў цябе будзе адна работа — глядзець дзетак. Яны у мяне добрыя, ласкавыя, мяркую, што ты з імі саўладаеш.

Меня поразила убогость жилища моих новых хозяев. Земляной пол, стол-козлы, покрытый домотканой скатертью сурового полотна. В переднем углу (на куце) икона, увитая вышитым рушником. Простая, плохо отесанная деревянная кровать (ложак), аккуратно застеленная крестьянской постилкой. Над кроватью — подвешенная за балку — люлька-калыска. Весь этот более чем скромный интерьер подавляла грубо сработанная, занимавшая полхаты русская печь с подпечником, где мирно, деловито квохтали куры. «А ні міскі, а ні лыжкі», — как поется в народной песне.

Но здесь, в этой бедной деревенской хате, в кругу моих новых хозяев и их застенчивых деток, я наконец почувствовала себя в полной безопасности, как у себя дома, спокойной и уверенной, надежно защищенной от всего страшного и жестокого, что было за ее стенами.

Теперь мне предстояло самое главное — расположить к себе детей.

— Ідзі, ідзі да мяне, Верачка, — ласково позвала я. Но Верочка отвернулась, обняла маму крепко за шею и горько заплакала. Я расстроилась. Подумала, а вдруг я их не приручу?

Маленький Коля сразу потянулся ко мне, повел во двор знакомить со своими друзьями — кошкой и собакой. И что было наивысшим проявлением доверия, в первую же ночь разбудил меня.

— Шоня, — произнес он, по-детски шепелявя, — я пісяць хачу.

Я спросонья стала искать посудину, куда можно высадить ребенка. Ничего не обнаружив, разбудила хозяйку.

— А ты чыгунчык вазьмі, у якім бульбу варым. Гэта ж дзіця, яно чыстае. Заўтра вымоем, пашаруем, і ўсе будзе ў парадку. Гэта нічога.

Я так и сделала.

Мне постелили на широкой лаве у стола, да так, чтобы изголовье было под образами. Я тут же уснула как убитая. Но ночью, уж не знаю, по какой причине, поменяла позицию и по невежеству улеглась ногами к иконе.

Рано утром пришла со мной знакомиться бабка Марчиха. Увидев это, пришла в негодование.

— Скажи мне, дзедю, ты хрышчоная? Ты малітвы ведаеш? Два-наццаць пацераў знаеш? Твае бацькі ў Бога верылі? Тольку з Богам трэба жыць і пад Богам. Ідзе такая страшэнная вайна. Будзеш верыць у Бога, ён цябе абароніць. Анця, — обратилась она к моей хозяйке, — трэба дзяўчыну ахрысціць. Я нехрысця трымаць у хаце не буду. У наступную нядзелю вядзі ў царкву ў Ракаў да бацюшкі і ахрысці, інакш гора будзе.

Странное чувство овладело мною. Мои родители не были верующими. Я часто слышала, как отец говорил, что он верит в Бога, но в того, который живет в его сердце и называется совестью. Религиозность моих бабушки и дедушки вызывала у меня добрую иронию. О каком Боге и о какой вере могла идти речь в довоенной советской школе. Мы верили совсем другим богам — Ленину и Сталину.

Я ничего не ответила бабке Марчихе и за повседневными делами забыла об этом разговоре. Но наступило воскресенье, и тетка Анця, разбудив меня рано утром, напомнила:

— Паедзем, дзедю, у царкву. Бабка ад сваіх слоў не адступіцца. Яе слова — для нас закон. Яна праўду кажа: хрышчоная Бог бе-ражэ.

Выехали мы рано. В церковь попали к заутрене. Я робко следовала за теткой Анцей. Впервые в жизни шла в церковь. Мною овладел необъяснимый страх и трепет. Тетка Анця непрестанно крестилась.

— Стой тут, збоку, пакуль ты нехрышчоная. Зараз малітва скончыцца, я падыду да бацюшкі, з ім перагавару, а потым цябе пазаву.

Лавируя между молящимися, она исчезла, я потеряла ее из виду. Но вскоре она вернулась и отвела меня к батюшке.

— З Богам, — сказала она, прикрыв за собой дверь. Священник участливо расспросил меня, кто мои родители, как я оказалась в этой деревне. Я в очередной раз изложила версию, придуманную теткой Стефанией.

Батюшка совершил обряд крещения, затем сказал:

— Я все вижу и понимаю, дитя мое. Молись Богу, и Бог тебя не покинет.

По тому, как священник со мной говорил, с каким участием и сочувствием слушал меня, смотрел на меня, я поняла, что он признал во мне еврейку. Но в нем жили Бог и доброта, и поэтому он спас меня. Это был очередной спаситель. Сколько их уже было на моем пути! Он подарил мне небольшой молитвенник и сказал:

— Здесь собраны все основные молитвы. Выучи их наизусть и произноси каждый раз, как того требуют религиозные обряды.

Домой мы вернулись к обеду. Бабка Марчиха и дети радостно встречали нас. А молитвенник стал предметом особой зависти моих новых подружек и друзей. Вскоре я все молитвы выучила наизусть, особенно не вникая в их смысл, который был мне непонятен и неясен. Попытки выяснить это у старших, даже у бабки Марчихи, оказались безуспешными. Совсем недавно, путешествуя по Белоруссии, я узнала, что Раковская церковь является памятником архитектуры XVIII века, основана в 1793 году. В ней бывали Элиза Ожешко, участники восстания 1861—1863 годов. Значит, не случайно там гуманистические традиции.

Наша деревня, что в семи километрах от Ракова, стояла в стороне от военных дорог. Было чувство, что этот уголок земли забыт Богом и людьми. Но это было только внешнее, кажущееся спокойствие. Война жила в каждом из нас. Мы дышали ею. Отдаленные и близкие раскаты пулеметных и оружейных очередей, зарева горящих то там, то тут хуторов и деревень, видневшиеся в ночи, держали всех в страхе и тревоге. Каждый день приносил новые печальные известия. Мы знали, что в деревне неподалеку от Воложина жителей за связь с партизанами загнали в сарай и сожгли. Знали, что у ближайшей деревни был бой с партизанами и каратели расстреляли ее жителей, не пощадили стариков, женщин, малолетних детей. Но приходили и добрые вести: о победе нашей армии под Сталинградом, об успешном продвижении наших войск на запад. Однако до победы, до избавления было далеко.

Стоял конец августа 43-го. Страда в разгаре. В такое время в деревне поднимаются рано, еще до рассвета. И вдруг разнесся слух: каратели разъезжают по деревням, творят разбой и грабеж. Не исключено, что и нам не миновать этой участи. Жители нашей деревни, уводя с собой скот, стали уходить в ближайший лес. Ушли и мои хозяева с детьми, увели корову и лошадь. Решено было, что я приду в условленное место немного позднее: в печи допекался хлеб. Я должна была его достать и принести с собой. Но я не успела этого сделать. Во двор, как смерч, ворвались каратели с автоматами наперевес, с гиканьем и криком бросились к хлеву, выволокли овцу, тут же во дворе ее прирезали выхваченной из ножен саблей и бросили во въехавшую вслед за ними повозку. В повозке сидело двое полицаев. Снова смертью дохнуло в лицо.

— Пахаваліся, блядзі, так бы Жукоўскаму не здабраваць, — выругался один из них. (Дядька Василь в 39-м, когда западные области присоединили к Белоруссии, был избран председателем сельсовета — для оккупантов он был человеком ненадежным.)

Я вросла в стену между окнами, спряталась за оконную занавеску и, боясь шелохнуться, наблюдала за этим шабашем. В хату они, слава Богу, не вошли. Залив двор кровью убитой овцы, убрались восвояси.

Выждав около получаса, я вышла во двор. Кругом мертвая тишина, ни звука. Вернулась в хату, вынула из печи хлеб, связала в скатерку и направилась в лес, в условленное место, где меня ждали мои хозяева. Как они обрадовались мне!

— Дзякуй Богу, прыйшла. Мы думалі, цябе забілі! Так доўга цябе не было. Дзякуй Богу, дзякуй Богу, — причитала тетка Анця.

И снова в нашей хранимой Богом деревеньке воцарилась тишина. Правда, где-то через неделю после налета карателей по дороге, ведущей в деревню, случайно встретились конные войска двух польских армий: Крайовой и Народовой. Командиры обменялись какой-то информацией и мирно разъехались. Так рассказывали сельчане-очевидцы.

Я тем временем, надо сказать, с трудом обучалась нелегкому сельскому труду. Научилась жать серпом, доить коров, ездить верхом на лошади, рвать лен, мять его и сушить, пасти стадо.

От рождения левше, мне особенно трудно было научиться жать правой, так как полукружье серпа повернуто влево: я вырывала колосья и стебли вместе с корнями. Мне было стыдно за неуклюжесть, неумелость перед моими хозяевами и подружками.

— Не дзеўка, а глума, — шутливо говорила тетка Анця. Я с доброй завистью глядела на подружек, как они красиво и ловко жали и вязали снопы. Я решила, что должна научиться быстро, красиво жать, овладеть этим искусством во что бы то ни стало. И придумала: ночью, когда мои хозяева после тяжелого трудового дня крепко спали, брала серп и бесшумно ускользала из дому. Приходила в поле и до изнеможения жала, жала, жала... Навык постепенно закрепился, и к концу лета я стала ловкой жницей, виртуозным мастером своего дела. Соседи, как правило, приглашали меня на дожинки, веселый сельский праздник по поводу окончания жатвы, вязания последнего снопа.

Трудно я училась и доить коров. Сельские жители не могут представить, чтобы подросток в 14-15 лет не умел этого делать. Когда мои хозяева, собравшись на несколько дней в соседнюю деревню на крестины, спросили меня: «Корову доить умеешь?», я, и глазом не моргнув, солгала: «Умею». Мне было стыдно сознаться, что я и этого не умею. Наблюдая, как ловко управляется с коровой хозяйка, я думала, что это так просто, никакого искусства здесь нет, тяни за соски, да и все.

Хозяева уехали днем, а вечером, пригнав с поля корову, я взяла подойник и принялась за дойку. Поначалу буренка стояла терпеливо, а затем стала хлестать меня хвостом. Вконец разозлившись, она стала бить копытами, норовя угодить в подойник и в меня. А молоко все не шло. У меня с непривычки млели руки, разболелась спина. Выдоив с трудом, быть может, с пол-литра, вся исхлестанная и измазанная коровьим навозом, не солоно хлебавши, вернулась в хату, умылась и легла спать. Спала я тревожно. На рассвете с подойником снова направилась в хлев. Буренка встретила меня недружелюбно, яростно мычала, била копытами. Вымя за ночь разбухло от прибывшего молока, готово было лопнуть. На этот раз я выдоила уже значительно больше, но все равно не полностью, и погнала корову в поле. Пригнала ее днем с пастбища, снова приступила к дойке. На этот раз молоко пошло. Моей радости не было конца — я научилась доить коров. Молоко шло легко и свободно, звонко ударяясь о стенки подойника, и не было ничего прекраснее этой мелодии звучащего молока. У меня немели руки, но преобладающая усталость — я доила, а буренка терпеливо и покорно стояла, жевала свою жвачку... Со временем наша буренка стала предпочитать меня хозяйке и встречала радостным мычанием. Я становилась умелой дояркой, могла выдоить самую «брыкастую» и «наравютую» корову, как говорила тетка Анця. Мне нравился крестьянский труд. Я любила пасти скот, повелевать стадом. Пасли обычно в толоку, по двое, и нам выпадал черед раз в неделю. Я особенно радовалась, когда моим напарником был Степка Григорович, мой ровесник, впоследствии настоящий друг. Это он обучил меня незамысловатому, на первый взгляд, искусству удерживать в поле зрения стадо из двух десятков коров и, как правило, сопровождавшую его отару овец, держать их в повиновении, водить вовремя на водопой, не растерять, укротить норовистых, привести на дневную дойку в деревню, выгнать назад в поле и, что особенно важно, избежать погравы. Набегавшись за стадом, я возвращалась домой смертельно

установка, но зато гордая, щасливая, уверена в себе. Валилась в постель и засыпала как убитая.

Я научилась верховой езде. Особую радость доставляли поездки в ночное. Любила ходить за криничной водой. Обычно шли гурьбой под вечер. Воду несли на коромысле. Шли полем, меж колоссящейся ржи и ячменя. Пахло медом, и еще какие-то непередаваемые запахи были разлиты в воздухе. Я говорила подругам: «Дзяўчаты, пахне мірам, як быццам няма і ніколі не было вайны».

Криничка служила мне зеркалом, так как зеркала дома не было. Я смотрелась в водную гладь и видела себя повзрослевшей, порой совсем взрослой, непохожей на ту, беспечную, наивную, девочку, которая отражалась в скромном настенном зеркале моего довоенного дома.

Верочка и Коля привязались ко мне, а я в благодарность искренне полюбила их. Непривередливые в еде, полураздетые до глубокой осени, босые, с цыпками на ногах, они постоянно играли в призьбе — в песке у дома. Казалось, они меня не замечают. Но стоило отлучиться — догоняли, цеплялись за юбку и следовали за мной. Я должна была постоянно быть в их поле зрения. Меня могла заменить им только мама. Даже к родничку за водой они увязывались за мной и терпеливо топтали своими босыми ножками, преодолевая почти двухкилометровое расстояние.

Незаметно подкралась осень, грустная деревенская пора. Наступали холода, все прятались по домам. По утрам дружно дымились трубы печей. Дни становились короткими, по вечерам жгли сосновую лучину, освещая ею избу. Торопились до заморозков убрать поля, приодеться и обуться к зиме. Ткали на кроснах и шили одежду. Была осень 43-го. Мы знали и чувствовали, что наступил перелом в войне, и изо дня в день ждали освобождения, прихода наших. Сельчане кучковались в группы и взволнованно обсуждали дела на фронтах, действия партизан. Я, окруженная вниманием моих хозяев, их теплом, вросла в эту семью, в крестьянский быт и за повседневными, нелегкими крестьянскими заботами и трудом забывала о том, что было пережито, старалась не думать о дальнейшем. Когда моего хозяина спрашивали: «Што будзеш з Соняй рабіць? Скончыцца вайна, — вучыць будзеш ці так і будзе у цябе нянькай?». Дядька Василь отвечал:

— Што будзе з намі, тое будзе і з ёю. Яна нам як дачка. Скончыцца вайна, пойдзе вучыцца. Як сама сабе захоча. Але пакуль вайна не

скончылася, мы яе ні куды не пусцім. Куды ісці у вайну, галоднай, халоднай. Што з намі, тое і з ёю. Куды я яе, сірату, пушчу. Такая вайна, такая вайна.

До позdney осени, до глубоких заморозков скот выгоняли в поле. Осенью стадо спокойнее, чем летом, подгоняемое холодом, дружно щиплет озимь. Одета в поддевку из грубого крестьянского сукна, подпоясанная веревкой, с кнутовищем в руках, набегавшись за стадом, я любила приходить на опушку леса, где облюбовала укромный уголок. Там росла одинокая березка. Чтобы дать ей простор для роста, кто-то спилил целое березовое семейство, росшее вокруг нее. Так и тянулась она одна кверху в окружении немых и мертвых березовых пней. Я садилась на пенек рядом с березкой-сиротой и наблюдала, как роняла она свой золотой наряд. Кланяясь всем ветрам, одинокая, никем не защищенная, то гнулась она, то гордо выпрямлялась, полная внутренней силы и достоинства. Я подолгу молча беседовала с ней. Мне казалось, что она слышит меня, чувствует мое сердце, отвечает мне и понимает, что у нас с ней родственные судьбы.

Я загадала: если весной хотя бы один пенек даст зеленые побеги, значит, мой отец жив и я обязательно найду его.

Что с ним, жив ли он? Мое полное неведение питало самые невообразимые фантазии. Он не погиб. Не может же быть судьба так немилосердна ко мне. Он, безусловно, бежал, жив, где-то в партизанах. Закончится война, и мы обязательно найдем друг друга.

Осень незаметно перешла в зиму. Зима 1943—1944 годов была суровая. Помню, как я мерзла, плохо одетая, когда выходила из натопленной избы, чтобы задать скоту корм или принести воды. Кожушок у нас был один на двоих с теткой Анцей, и обуться было не во что. Дядька Василь сплел из лыка лапти. Однако наворачивать онучи так, чтобы не натирало ноги (каб не муліла, — как говорила тетка Анця), я не умела. И дядька Василь каждое утро мне помогал обуться. Зато бегать в лаптях по сухому, морозному снегу было легко и удобно. Вскоре наступили Коляды, веселый зимний праздник. Помню, как, обряженные в причудливые одежды, мы с подружками ходили колядовать, как справляли три кутьи: бедную, среднюю и богатую.

Прошел январь 44-го, в феврале изо дня в день ждали окончания войны, прихода Советов, как тогда говорили в деревне. Как-то ночью настойчиво постучали в дверь. Дядька Василь в исподнем выглянул в окно и шепнул тетке Анце:

— Пайду адчыняць, гэта, мусіць, партызаны.

В избу вошло трое вооруженных мужчин, одетых в случайные гражданские одежды. Старший из них, выяснив, что в доме нет посторонних, представился, сказал, что они партизаны, находятся при исполнении хозяйственной операции, что в отряде есть женщины и дети, их надо кормить. Они были бы очень обязаны хозяину, если бы он отдал им корову. Дядька Василь взмолился:

— Браточку, вы ж нас загубіце, трое дзяцей, адна старэйшая (он показал на меня) і двое маленькіх. Гэта ж наша карміліца, кароўка. Я вам лепш добрую авечку аддам. Не бярыце кароўку. Ідзі, Соня, выберы ім авечку, а кароўка хутка ацеліцца, прыедзеце, я вам цяля аддам, а кароўку не бярыце.

— У вясну ўжо, браток, вайна скончыцца, прыйдуць нашы. Вы што, не ведаеце, што фронт ужо блізка? Прыйдучь Саветы, тады такім куркулям, як ты, не паздаровіцца, — ответил старший партизан, но все-таки согласился на овцу.

Я вышла с ними в сени. Сердце у меня колотилось от радости, наконец партизаны в нашем доме. Как мучительно мы искали к ним путь в гетто. Я попрошу, чтобы они взяли меня с собой. Я смогу быть полезной. А как на это посмотрят мои хозяева, не будет ли это предательством по отношению к ним? Решение надо было принимать мгновенно, и я решилась:

— Возьмите меня с собой. Я смогу вам пригодиться. Я из Минска, беженка, родители погибли в бомбежку, — твердила я заученную версию.

— Это уже в следующий раз. Мы теперь выполняем хозяйственную операцию. Если бы парня, мы бы сразу взяли. Готовься, в следующий раз заберем...

Я вышла с ними во двор, вывела из хлева овцу. Погрузив ее на повозку, они сразу уехали. Я долго глядела им вслед, пока они не исчезли из моего поля зрения. В растерянности вернулась в хату. Зима прошла в ожидании, но я так и не дождалась своих партизан.

Незаметно пришла весна 44-го. Это была весна ожиданий и надежд. Фронт стремительно приближался. «Скоро придут Советы», — говорили на селе.

Как только пробилась первая весенняя травка, стали выгонять стадо в поле. Готовились к посевной и к Пасхе. Дядька Василь выгнал самогонку. Я помню, как он поручил мне дежурить у самогонного аппарата, научил отличать «першак» от последующих

фракций. Ни разу я не видела своего хозяина пьяным или выпившим. Гнали самогон для ритуала и к предстоящим религиозным праздникам.

— На Пасху, — сказала тетка Анця, — вазьму цябе з сабой у цэркаў. Там будзе хораша, крэсны ход. Пасвенцім яйкі, куліч.

Пасху в деревне празднуют удивительно красиво. Все нарядные, в своих лучших одеждах, и взрослые, и дети угощают друг друга, христосуются. Но праздники проходят быстро, наступают будни.

Я по-прежнему пасла коров, помогала в поле, дома по хозяйству, смотрела за детьми. За заботами забыла о своей березке. Вспомнив, помчалась на заветное место. Что я увидела: пенек, на котором я любила сидеть, дал несколько зеленых побегов. Шли они от корней, прямо с земли и принадлежали этому пенечку. Значит, он ожил, он жив, и земные соки питают его. Это означало, что жив мой отец. Получилось так, как я загадала. Я была счастлива: найдем друг друга и обязательно встретимся.

НАШИ ТАНКИ

Тем временем фронт приближался. Помню хорошо дату: 4 июля, на рассвете к нам в окно постучал сосед:

— Людзі, на Ракаўскім шасэ савецкія танкі. Ідуць Саветы.

Я, в чем стояла, бросилась к своим друзьям Лиде, Верочке, Степану, и все мы гурьбой помчались к шоссе.

Танковая колонна двигалась медленно. Из открытых люков на нас глядели и нам улыбались танкисты. Младшую из нас, Лиду, подхватил подъехавший к нам вплотную танкист, посадил себе в люк и повез. Мы бежали вслед, и, вернувшись в деревню, до позднего вечера, перебивая друг друга, рассказывали селянам о нашей встрече и наших приключениях.

Пришло избавление. Я потеряла покой от смешанного чувства неизъяснимой тревоги, боли и предстоящего счастья. Раз освобождены Минск и вся Минская область, значит, можно вернуться домой в Узду. Но за этих два суровых года и деревня Яцевщина, и дом моих хозяев стали моим вторым домом. Однако меня тянуло на родное пепелище. Я сказала хозяевам о своем намерении.

— Куды ты пойдзеш у вайну, раздзетая і разутая. Закончыцца вайна, тады і паедзеш, — уговаривал меня дядька Василь.

Но меня тянуло в Узду.

— Если отец жив, он обязательно вернется домой, — рассуждала я. — Я должна опередить его, прийти первой. Только убедившись в том, что отец не пришел, а значит, его нет в живых, я смогу вернуться.

Согласились со мной хозяева, и я пустилась в дорогу.

Добралась до Ракова. Там только что прошел фронт. Развороченные улицы, смрад. По обочинам дороги валялись неубранные трупы убитых лошадей со вздутыми животами. Стояла невыносимая жара, пахло дымом и порохом. До Минска добралась на попутной военной полуторке, крытой брезентом. Машину трясло на развороченной, в рытвинах, ухабистой дороге, бросало из стороны в сторону, чуть не опрокидывало. Меня сильно укачало, стало тошнить. Солдаты, мои попутчики, обеспокоились, не знали, как мне помочь. Сержант подсказал: «В таких случаях помогает сахар. Надо высосать кусочек сахару, и тошноту как рукой снимет». Нашли сахар. От сахара меня стало мутить еще больше...

Вспомнилась зима 43-го. У нас в деревне тяжело заболел соседский годовалый мальчик. С трудом достали для него кусочек сахару. Ребенок в жару от сахара отказался.

— Ну, калі цукру не есць, дык, мусіць, памрэ, — сказала в отчаянии мать.

Я продолжала свой путь. Добралась до станции Негорелое. Из Негорелого на попутке доехала к вечеру до Узды.

Что помню: был тихий, теплый летний вечер. Ярко-красный шар солнца медленно прятался за облака, напоминавшие покрытые дымкой таинственные вершины гор. Я остановилась и с восхищением наблюдала за этим причудливым закатом, который долго не менял своих очертаний. Казалось, что это тихое, приземленное местечко лежит у подножья таинственных горных вершин. Постояв еще немного, направилась на свою улицу. Она была безлюдна: ни прохожих, ни знакомых. Ноги у меня подкашивались. Я медленно шла к своему дому, минуя до боли знакомые, покосившиеся и обветшалые, как мне показалось, дома наших соседей. Пришла к тому месту, где стоял наш дом, но вместо него зияло черное, безмолвное пепелище. Сгорели наш дом, и приютившийся к нему домишко моего деда, и нарядный, выходящий окнами на улицу дом тети Зелды. О том, что это случилось зимой 42-го, во время боя партизан с немцами, я узнаю позднее, а тогда, постояв немного на родном пепелище, я приняла решение: где-нибудь заночевать, а завтра утром уехать, вернуться назад в Яцевщину к своим хозя-

евам. Постучалась к Журам, нашим соседям. Их дом, стоявший на краю улицы, уцелел. Представилась, попросилась переночевать. Тетка Вера расплакалась.

— Ты знаешь, я бы тебя никогда не узнала, так выросла. Сегодня ночью твою маму во сне видела. Странно, никогда она мне не снилась, а тут... Посиди, детка, сейчас поужинаем.

Я робко спросила, боясь услышать плохое, жива ли моя подруга Тамара Реутович. Мне бы очень хотелось ее увидеть.

— Да, они все живы, только дом у них сгорел, и они теперь живут на поселке. Я провожу тебя к ним, повидеешься, но ночевать придешь к нам.

ВСТРЕЧА

Поужинав, мы направились к Реутовичам. Была теплая встреча со слезами радости, расспросами, воспоминаниями. Когда я собралась уходить, тетя Надя спросила:

— А когда придет папа?

— ?!

— Папа же твой здесь. Он недавно выписался из госпиталя, дня три тому назад. Я думала, это он тебя прислал...

На некоторое время я потеряла сознание. Меня привели в чувство. Тамара побежала за отцом. Я вышла за калитку и ждала. Что я чувствовала в эти минуты ожидания, которые мне казались нестерпимо долгими, уже не помню. На мгновение подумалось, что это недоразумение, галлюцинации, ошибка, сон. Не может быть, чтобы сбылась самая несбыточная фантазия. Жизнь есть жизнь, и чудес на свете не бывает.

И вот он появился. Это явь. Это он идет мне навстречу. Не идет, а бежит, неловко спотыкаясь о развороченную мостовую, путаясь в незашнурованных ботинках. Я бросилась ему навстречу. Он еще не видит меня. А я его вижу. Это он, мой папа, живой, реальный, настоящий. В старом галифе из темно-синего сукна, в сером крестьянском пиджаке из сукна домотканой работы, надетом на правую руку. Левая рука, не вдетая в рукав, висела на бинте, перекинутом через шею. Но все это я рассмотрела потом. А в момент нашей встречи мы на мгновение застыли, ощущая друг друга. А вдруг это сон? Нам не верилось, что это реальность. Но длилось это только мгновение. Потом были слезы, не слезы — рыдания.

Сбежался весь поселок. Многие плакали вместе с нами. Уже совсем стемнело, никто не хотел расходиться. Все хотели соучаствовать в нашем звездном часе, прикоснуться к нашей радости, к нашему счастью. Совсем успокоившись и поверив в реальность случившегося, папа спросил меня:

— Ты знаешь, дачушка, кто еще выжил? — Я окаменела. Да кто же еще, Господи? Я же была свидетелем гибели всех!

— Кто еще, папа? — спросила я с надеждой и страхом в голосе.

— Наша Красотка.

Красоткой звали нашу довоенную корову. Она славилась большими надоями и высокой жирностью молока. Такая корова в те времена была целым состоянием. Их было не так уж и много в местечке, и были они все наперечет, у всех на виду. Вспомнив об этом, доктор Круглик, сотрудничавший с оккупантами, сразу после погрома забрал Красотку себе. Не думал он тогда, что наступит неизбежная расплата. Он бежал с отступающими фашистами и полициями, ему было не до Красотки. Отцу в первый же день по возвращении в Узду соседи рассказали эту историю, помогли найти и забрать корову.

ГРОЗОВСКИЕ, КРЫСЬКО, ЗАЙЦЕВЫ

— Ночевать будем у Грозовских. Пойдем, пойдем, там и корова стоит недоенная и некормленная. Надо попросить соседей подоить.

— Красотку, папа, я сама подою, — сказала я с гордостью.

— А хіба ты умееш? — спросил он по-белорусски.

— Умею, умею, яшчэ як умею, — ответила я.

Тетя Зина Грозовская и ее дочь Фаня вернулись в Узду в свой собственный, случайно уцелевший дом, можно сказать, из небытия. После узденского погрома им удалось бежать. Почти год укрывались в семье Крысько из деревни Бервищи, что в километре от Узды. Подвергая себя и свою многочисленную семью (7 человек детей) смертельной опасности, Алесь Иванович и Татьяна Борисовна кормили, поили, обогревали их, пока не вышли на связь с партизанами и не передали их в партизанский отряд.

Однажды маленький Коля, младший сын Крысько (было ему 4 года), играл с детьми в прятки, решил спрятаться в гумне в стоге сена, где укрывались Грозовские. И нечаянно коснулся рукой во-

лос прятавшейся там маленькой Фани. Испугавшись, примчался в дом к матери:

— Мамка, там, у гумне, у сене курыца сядзіць на яйках. Ідзі хуценька, я табе пакажу, дзе яна сядзіць, — выпалил Коля.

— Сядзіць, сядзіць, хай сабе сядзіць. Ты толькі болей у сене не хавайся, — сказала, сообразив, в чем дело, Татьяна Борисовна. В свою тайну старшие Крысько детей не посвящали. Ребенок может и проговориться.

Понимали и Грозовские, какой опасности они подвергали семью Крысько. Когда во время облавы полицаи шомполами прощупывали сено, попали острием Фане в руку; сжав от острой боли зубы, десятилетняя Фаня не проронила ни звука.

Поиски партизан были трудными. Опасность и страх были смертельными и для спасителей, и для спасаемых. Наконец счастливый час настал. Передал Алесь Иванович Крысько спасенную им семью Грозовских начальнику разведки партизанского отряда «Боевой» Денису Григорьевичу Зайцеву. Эстафета добра и мужества была передана в надежные руки. Через все тяготы партизанской жизни прошли они вместе. Через все бои, блокады, облавы. Любит Денис Григорьевич вспоминать, как, утопая по шею в болотной жиже, посадив Фаню на плечи, выводил отряд из блокады. Иначе бы она утонула, болото бы накрыло ее с головой.

Мы тем временем пришли к Грозовским.

— Ну, што я табе гаварыла, я ж казала, што яна вернецца, я была ў гэтым упэўнена. Ты ведаеш, Сімачка, трое сутак сядзеў твой бацька каля вакна, не адыходзіў, усе пазіраў, чакаў цябе, дачакаўся-такі, дзякуй Богу, — причитала тетя Зина. А нам с отцом все не верилось, что это явь, что мы нашлись, что эта встреча — реальность, мы не могли наглядеться друг на друга.

— Ну, что ж, дачушка, рассказывай. Кто из нас первый начнет?

— Ты, ты, папочка, сначала ты.

Он говорил спокойно, не торопясь, рассказывал свою судьбу, не вдаваясь в подробности, по нескольку раз проговаривая только наиболее трагические события.

Он весь ушел в переживания, не видя никого и ничего вокруг, только болезненно следил, как я реагирую на его горестный отчет. Когда я, переживая, не могла сдержать слез, он прерывал свой рассказ и говорил:

— Все, все, на сегодня хватит. У нас еще все впереди, вся жизнь. Все только начинается. Еще расскажу.

Как он спасся, что он мне рассказал...

Они с дядей успели спрятаться за поленницами дров до начала погрома. Когда выстрелы прекратились, вышли из укрытия, вернулись в дом. Отец связал в узел кое-что из скромного домашнего скарба, забросил узел на плечи и направился в ближайшую деревню к своему другу, надеясь найти у него временное укрытие. Не буду называть ни деревни, ни имени того человека. Не буду корить его за это, Бог ему судья. Он сказал отцу:

— Не, браток, не буду рызыкаваць жыццём сваім і сям'і. Узел твой скаваю. Выживеш, вернешся, усе да штатк! аддам, а цябе не, не магу.

Нет, не будем корить его за это, он не предал отца, не выдал его немцам. Не каждому дано проявить величие духа и высокое чувство общечеловеческого братства. После войны они встретились, изжили со временем состояние душевной неуютности, неловкости от пережитого прецедента, продолжали дружить до конца дней своих. А вещи он действительно сохранил и вернул отцу. У меня до сих пор хранится старая «капа» (покрывало), в которую отец связал тогда наш жалкий домашний скарб. Моя самая дорогая реликвия, хранящая память и тепло разрушенного и уничтоженного родного дома.

А отец тем временем, освободившись от ноши, брел по знакомым с детства, исхоженным и изъезженным им вдоль и поперек дорогам района в поисках убежища и спасения. В деревню Песочное соседнего Копыльского района пришел ночью. Ноги за сутки были стерты в кровь. Идти дальше нельзя было. Тихо постучал в дверь к знакомому крестьянину. Ему открыли. Он уже не просил о прибежище, только просил дать во что-нибудь переобуться. Хозяин снял с ног свои единственные сапоги и отдал их отцу.

Страх смерти, подстерегая на каждом шагу, обостряет инстинкт самосохранения и уже подсознательно уводит тебя от опасности быть застигнутым врасплох. Ты, как загнанный зверь, чувствуешь, предчувствуешь беду. И слух, и зрение обострены до предела. Я знаю эти чувства, я их прожила и пережила. Когда отец мне рассказывал, как он брел по ночным дорогам и тропам в поисках спасения и укрытия, я все это отчетливо представляла и вновь страдала вместе с ним.

А привели его дороги в Барановичи, где, как в ловушку, попал в гетто. Пришел он со своим земляком, тоже бежавшим от узденского погрома, Ильей Зарецкевичем, до войны студентом истфака Белгосуниверситета. Стоял холодный, пронизывающий ноябрь, тяжелая осень сорок первого года. Но двое — не один. Начал складываться план побега. Работали они на немецкой конюшне, чистили лошадей, чинили сбрую, досматривали коров. На работу их приводили ранним утром, вечером, если удавалось, с котелком баланды они возвращались в гетто. Соседкой отца по гетто была молодая женщина с годовалой девочкой. Девочка погибала от истощения. Отец понимал, что спасти ребенка может только молоко. И предпринял рискованную попытку надоить немного молока, «украсть» его у уже выдоенных им коров. Ему удавалось таким образом добывать около литра молока. Для этого он приспособил грелку, в нее и доил. Грелку прятал под пиджак и благополучно проносил в гетто. Молоко спасло девочку, она стала понемногу поправляться.

Не трудно представить, какое наказание понес бы отец, застигнута ли его за этим занятием гестаповец Фишер, его шеф и надсмотрщик, отличавшийся особой жестокостью и изуверством. Его изощренная жестокость не знала границ. Как-то он позволил узникам минутную передышку, разрешил присесть, передохнуть. Отец пристроился неподалеку от Фишера, на пустом ящике из-под патронов. От усталости расслабился, прикрыл глаза. Фишер был начеку. Он решил, что отец спит, бросился к нему:

— Гаст ду гешляфен, фарфлюхте юде?

— Наин, герр шеф, их габ нихт гешляфен, — отвечал отец.

— Ду гаст гешляфен, — твердил озверевший гестаповец, жестоко избивая при этом отца, пытаясь угодить кованым сапогом в голову, живот. Обнаружив валявшиеся рядом пустые бутылки, подобрал их и стал разбивать о его голову. А отец, совершенно обессиленный от побоев, продолжал тихо твердить:

— Наин, герр шеф, их габ нихт гешляфен.

Гестаповец тогда убил бы отца, помогаясь признания в несовершенном преступлении, если бы наблюдавший за этой сценой узник не подсказал: скажи, что ты спал, иначе он убьет тебя. И тогда отец разбитыми в кровь губами прошептал:

— Яволь, герр шеф, их габ гешляфен...

Услышав нужное признание, пнув напоследок ногой уже поверженного, упавшего навзничь отца, палач удалился. К концу декабря

у него и его друга Ильи уже был детально разработан план побега. Уходили они не с пустыми руками. Удалось вывезти три ящика с патронами, несколько автоматов. Прикрыв все это мешками с картофельными очистками, которые предназначались для ближайшего концлагеря, Илья благополучно выехал из зоны. Отец прикрывал его. Фишер заметил отсутствие Ильи не сразу, а когда хватился, уже было поздно. Илья был вне опасности, за пределами города. В тот же день и отцу удалось усыпить бдительность Фишера и благополучно бежать. Они встретились в заранее условленном месте. Было это в январе сорок второго года, в самый разгар войны. Еще не наступил перелом, еще не было Сталинграда и очень далеко до желанной победы. И стали они первыми бойцами отряда имени Жукова, бригады имени Молотова, действовавшего в лесах нынешнего Пинского района Брестской области. Отец был в отряде пулеметчиком. Со своим ручным пулеметом не расставался ни днем, ни ночью, когда ложился спать в сырой и холодной землянке, клал его под голову вместо подушки. С избытком хлебнул партизанского горя. Однажды, попав в длительную блокаду, загнанные карателями по шею в топкую, болотную жижу, чудом не погибли от голода и холода. Делили одну картофелину на пять частей. Толовые пашки делали сами, внешне они напоминали куски хозяйственного мыла. Летели от этого «мыла» под откос немецкие составы с танками и боеприпасами.

— В боевых операциях мне везло, особенно в «рельсовой» войне, ангел-хранитель берег меня, — рассказывал отец. Но один нелепый случай доставил ему особенную боль и огорчение.

— Ни за что ни про что погибли хлопцы, молодые, красивые, настоящие друзья, — вспоминал отец.

Возвращались с боевой операции. Шли лесом, огибая деревню, а там, знали партизаны, гуляли свадьбу.

— Зазірнѐм на вяселле, — решили двое молодых партизан.

— Не трэба, хлопцы, у вѣсцы стараста, ёсць паліцаі, — уговаривал их отец. Но хлопцы не согласились.

— Мы толькі павіншваем маладых, вып'ем чарку і назад.

Но за чаркой последовала другая, и забыли обо всем на свете двое молодых ребят. Уже стали беспокоиться поджидавшие их за деревней партизаны и вдруг слышат — пулеметные очереди. Нашелся среди гостей подонок, незаметно выскользнул из дому и донес полицаям. Изрядно захмелевшие, застигнутые врасплох хлопцы бежа-

ли, отстреливаясь. Но силы были неравными. Погибли нелепо партизаны.

— Хорошо, что тела удалось подобрать и похоронить по-человечески, — говорил с болью отец. Он часто вспоминал эту историю. Не давала ему покоя нелепость этой утраты.

Рассказы о партизанской жизни были бесконечными, особенно после выпитой чарки, в кругу старых друзей-партизан.

Ранило его 3 июля сорок четвертого, в день освобождения Минска. Отряд, расслабившись, не подозревая о подстерегавшей опасности, направлялся на воссоединение с регулярными войсками Первого Белорусского фронта. Беспечно выйдя из лесу, нарвались на мощный, шквальный огонь отступающих немцев, оказавшихся в «котле», в тылу далеко ушедшего фронта. Огонь был внезапный и мощный. Отстреливаясь, партизаны в панике бежали. Разрывная пуля настигла отца, попала в левое плечо, раздробив его. Бежал сколько мог, затем упал, обессилев от потери крови и боли. Вначале «отряд не заметил потери бойца». Но оказавшись в безопасности, осмотревшись, партизаны обнаружили, что нет среди них Миши Марголина. Командир отряда отдал приказ найти Мишу во что бы то ни стало, живого или мертвого. Вернулись на то опасное место. Нашли и вынесли на руках обескровленного, но живого. Могли и не найти, пойти не той тропой, поздно хватиться, и он истек бы кровью. Спасибо судьбе.

Отец попал в Ляховичский военный госпиталь, что неподалеку от Бреста. Спустя неделю, нашло его там письмо от моего двоюродного брата Самуила, случайно узнавшего, где его дядя находится на излечении. В письме сообщалось: «Ваша дочь Сима весной 43-го года ушла из Минского гетто в поисках отца. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно». Смешанное чувство тревоги и счастья подняло отца с постели. Ему уже было не до лечения. Он сбежал из госпиталя не долечившись и направился в Узду. Отец рассуждал так: если я жива, то обязательно приду в Узду, вернусь домой. В роковые часы все живое тянется к дому, в свое гнездо. Если же меня нет в живых, значит, я погибла где-то на дорогах войны в поисках его, а не искала бы, то, может быть, и выжила. До конца дней своих он будет считать себя причиной моей гибели.

В Узду он вернулся тремя днями раньше меня. Пришел на свою улицу, пришел на пепелище. Ничего не осталось от дома, даже фундамент был разобран. Долго стоял молча, плакал, не стесняясь

и не утирая слез. Сгорело все в этом военном пожаре: дом, улица, земля. Погибла семья — жена, дети, родные, друзья. Шел ему тогда 41-й год. С чего начать новую жизнь? Пожарище исстари вызывает к возрождению. Но где та цель, ради которой стоит возвращаться к жизни? Как уйти от чувства вины, что выжил, а все погибли? Что придаст силы и мужества? И тогда он вспоминал о письме-записке, лежавшем у сердца в боковом кармане пропитанного потом и кровью домотканого пиджака. В письме, читанном уже в который раз, сообщалось: «Ваша дочь Сима жива, она весной 43-го ушла из гетто». Она жива, она вернется, убеждал он себя, но надежда сменялась отчаянием, затем снова появлялась надежда. Ведь не может быть к нему так немилосердна судьба: моя «дачушка» обязательно вернется. И тогда я обещаю отблагодарить судьбу за это. Я возведу дом и выращу сад. Я буду скромн в желаниях и добр к людям. Я буду верен памяти погибшей семьи. Если вернется моя дочь — мне большего счастья не надо. Он заклинал судьбу и просил ее о милости. Он принес клятву верности тогда на пепелище и остался верен ей все отведенные ему судьбой недолгие годы.

Верность долгу была его сутью. Вспоминаю, как однажды я невольно подслушала беседу отца на деликатную тему со своим другом, доктором Герасименко. Они не знали, что я в соседней комнате делаю уроки, а я, чтобы не смутить их, не могла объявиться, выйти к ним.

— Ты знаешь, — рассказывал он Герасименко, — во время войны в партизанах нравы были свободные, женщины доступные, но я не мог себе такое позволить. А вдруг жива моя женка, тогда как же? Нет, браток, я так не могу. Долг превыше всего.

Так случайно преподавал он мне урок высочайшей нравственности.

Был отец человеком открытым до беззащитности, искренним в дружбе и товариществе, а запас оптимизма и любви был в нем поистине неиссякаем. Ему все было под силу, все нипочем. Построив новый дом на месте старого, сгоревшего, он принялся выращивать сад. Каждое деревце высаживал, как малое, беззащитное дитя. Сам выводил новые сорта яблонь, слив. Когда весной зацвевал сад, его радости не было предела. Он готов был ночевать в саду, наблюдая за каждым новым побегом, за каждым вновь раскрывшимся цветком.

— Иди сюда, дачушка, я покажу тебе, насколько вытянулись за ночь веточки груши-малоградки, — звал меня по утрам, а когда сад стал плодоносить, решил завести пасеку. Пасека у него была отмен-

ная. По осени свеженакатанный мед благоухал на все местечко. Помню, как достал он где-то яйца африканских кур. Наша белорусская «квочка» их высидела, и пошли у нас гулять по двору африканские цыплята.

— Посмотри, дачушка, какие красавицы, какое оперенье, во всей Белоруссии такого не увидишь, — ликовал он.

Своими увлечениями он заражал всю, к тому времени многочисленную нашу семью (четверо детей, и всегда кто-то жил у нас на правах родственника). Дом никогда не закрывался на замок — всегда друзья, знакомые. И никого отец не обделил своим теплом и вниманием. Но ко мне отношение было особое. Я была его маяком, его состоявшимся счастьем. Он обладал богатырским здоровьем, никогда не болел, никогда не воспользовался отпуском.

— А что, цветущий сад — разве это не курорт? Встань на рассвете и постой часок под цветущей яблоней, полюбуйся на нее, подыши ею, вот тебе и курорт, — говорил отец.

Получив по ранению вначале вторую группу инвалидности, а затем третью, он не воспользовался льготами, считал это неприличным.

Заболел внезапно. Причиной тому была незаслуженная обида, которая нанесла ему глубокую душевную травму. Со своим тяжелым недугом боролся мужественно, героически. Долго не хотел ложиться в больницу. Но коварный недуг брал свое. Пришлось лечь в клинику.

Его готовили к операции: делали исследования, ставили капельницы, укрепляли лекарствами. В последний момент я струсила:

— Папа, а может, не надо операции, так поправишься?

— Ты что, дачушка, я же врачей подведу, они меня готовят, так много сделали, и лекарство, и внимание, и вдруг откажусь от операции. Я же всех подведу. Нет, нет, буду оперироваться.

Тяжелая операция не принесла облегчения. Врачи и медсестры отделения говорили, что не припомнят такого терпеливого больного, держится, как герой.

— Я им, дачушка, не надокучил ни просьбой, ни стоном, хватает им и без меня.

Когда догадался, что неизлечимо болен, то прежде всего подумал не о себе, а обо мне, своей семье. Я сумела его разубедить в этой страшной догадке, внушила надежду на выздоровление. Он поверил мне и сказал уже спокойно:

— Ты знаешь, был момент, когда я понял, что неизлечимо болен. Я за себя не испугался, а за тебя, за всех вас, как вы перенесете эту беду.

Перенесла я эту беду, на все оставшиеся годы поделившую мою жизнь на два жизненных времени: на то, счастливое, полное, насыщенное добром, светом и любовью, когда был отец, и на то, горькое, сиротское, во многом потерявшее прелести полноценного, жизненного время, когда его не стало.

Все это было потом, спустя годы. А тогда, двадцать третьего июля сорок четвертого, постояв еще немного у того, что осталось от родного очага, отец направился в районную амбулаторию на перевязку — гноилась рана. Там и нашла его моя подруга Тамара Реутович и сообщила, что на поселок к ним пришла его дочь Сима и ждет его. Потом был наш звездный час, была наша встреча, о чем я рассказывала ранее.

МОИ БРАТЯ: САМУИЛ И САША

Как часто бывает в жизни — за бедой следует беда, а радость рождает радость. Отец сообщил мне добрую весть: живы мои двоюродные братья Самуил и Саша. Бежали из гетто, ушли в партизаны.

— Как бежали, как выжили — об этом они тебе расскажут сами, — сказал отец, — они здесь, в Узде, вернулись домой.

Это была для нас великая радость.

Что они мне рассказали? Работали в немецких сапожных мастерских, шили новые сапоги для немецких солдат и ремонтировали старые, прохудившиеся, которые в большом количестве поступали с фронта. Их снимали с убитых и раненых, и, отремонтированные, они снова, как говорится, возвращались в строй. Самуил рассказывал, что за вынос сапог из мастерских применялись самые суровые наказания, вплоть до расстрела. Но добротные сапоги в годы войны были целым состоянием, поэтому соблазн «увести» пару хороших сапог был велик. Узников, работавших в мастерских, проверяли только на входе. Поэтому, придя на работу в тапочках, в мастерских можно было переобуться в добротные немецкие сапоги и безопасно выйти. Так и делали смельчаки, выносившие десятки пар сапог за колючую проволоку, за пределы гетто. Ими снабжали партизан, продавали на так называемом «толчке».

Однажды в подвале мастерских Самуил обнаружил два диска от танкового пулемета и старый кинжал. Для того чтобы, бежав из гетто, попасть в партизанский отряд, нужно было принести с собой оружие. В отряд безоружных не брали. Это, к сожалению, было не то боевое оружие, так необходимое партизанам, но прецедент создать можно.

Но как вынести эту находку? В гетто разрешалось проносить только баланду. Носили ее обычно в котелках. Поэтому было решено изготовить котелок с дном диаметром в пулеметный диск и на дне котелка под баландой вынести диски. Так и сделали. Кинжал тоже удалось пронести. Самуил знал, что на территории гетто действует подпольная группа, есть узники, связанные с партизанами. Но все его попытки выйти на связь с ними были безуспешными. Тогда он решил распространить слух, что у него есть оружие.

Вдруг кто-нибудь «клюнет»? Вскоре ночью к нему постучались. Это были двое военнопленных из концлагеря, что на Сухой улице. Они попросили поделиться оружием. В обмен обещали вывести из гетто. Но это «оружие» их не устроило. Снова наступила безнадежность. Тогда Самуил принимает решение уйти из гетто безоружным, полагаясь на волю случая. Была организована группа из шестнадцати человек. В нее входили и молодые, и пожилые, и женщины, и подростки. Под покровом ночи, предварительно выяснив наименее охраняемый участок проволочного ограждения, двинулись в путь. Успешно вышли, минуя охрану, и направились, как было заранее условлено, в сторону деревни Новый Двор, в окрестностях которой надеялись найти партизан. Однако в темноте и страхе сбились с дороги и, проплутав всю ночь, вновь оказались под Минском, на том месте, откуда выходили. Начинало светать. Слабонервные, отчаявшись, предлагали вернуться. Но на рассвете беглецы нашли нужную дорогу и неподалеку от деревни Новый Двор в лесу повстречали группу вооруженных людей. Это были партизаны. Радость, правда, была недолгой: из всей группы они отобрали только четырех молодых ребят, в том числе и Самуила. Остальные двенадцать остались невостребованными. Безоружные, измученные голодом и жаждой, они пришли в деревню Скирмонтово и по трагической случайности подоспели прямо к карательной акции, где разделили судьбу жителей этой деревни, сожженной вместе с ее обитателями за связь с партизанами.

А Самуил стал пулеметчиком партизанского отряда имени Буденного, бригады имени Сталина. Там и встретил победу, пройдя через все тяготы и испытания партизанской жизни.

Тяжело уходил из гетто и Саша. Первая попытка оказалась безуспешной, пришлось возвращаться назад. Во второй раз группа узников из восемнадцати человек, вооруженная одним обрезом, уже более тщательно продумала план побега. Предусмотрели все — и время, и место. Просчитали, казалось, все возможные варианты и исходы. Улучив момент, когда полицейай, охранявший участок проволочного заграждения, через который должны были переползти узники, отлучился, стали быстро выползать за проволоку. Именно в этот момент крайнего напряжения и смертельной опасности раздался окрик «Хальт!», прогремели винтовочные выстрелы. Началась паника. Узники стали разбегаться кто куда. Несколько человек погибло, нескольким удалось уйти, остальные, и Саша в их числе, вернулись в гетто.

В третий раз группу выводил партизанский связной Миша Трейстер. Под покровом ночи благополучно вышли из гетто. К утру подошли к деревне Медведичи. Там решили разбиться на подгруппы и по очереди двигаться в заранее условленное место. Первая группа из семи человек нарвалась на полицейскую засаду. Чудом удалось спастись только двоим — отцу и дочери, остальные погибли. Вторая группа, которая шла следом, разделила участь первой. Третья, в составе которой был Саша, решила дожидаться ночи, а на день укрыться в заросшем камышом болоте, неподалеку от деревни. С рассветом Сашу направили в разведку. Надеялись, что белокрысый тринадцатилетний пацан может вполне сойти за деревенского пастуха и не привлечет к себе внимания немцев или полицейай. Он благополучно добрался до деревни, зашел в первую хату у дороги, предложил хозяевам добротные заготовки на сапоги. Их дали ему с собой родители, благословляя и отправляя своего сына в трудную, опасную дорогу. Заготовки понравились хозяевам. Они щедро и сытно накормили мальчишку, дали с собой хлеба и сала, подсказали и объяснили, по какой дороге идти, как продвигаться дальше. Поблагодарив хозяев, он направился к своим друзьям, с нетерпением и волнением поджидавшим его. Но не успел он пройти и пятидесяти метров, как повстречался с двумя вооруженными мужчинами, одетыми в форму украинских националистов. Они остановили парня, рассмотрели. Понравились им Сашины сапоги.

— Махнем? — предложил один из них, обутый в развалившиеся, дырявые кирзачи, перевязанные веревками.

— Махнем, — согласился Саша.

Что ему было делать, безоружному мальчишке? Они переобулись. Саша плотно связал веревками доставшуюся ему обувку, и они разошлись в разные стороны. Хозяин дома, наблюдавший из окна за этой сценой, нагнал Сашу.

— Знаешь, кто эти люди? — спросил он.

— Я думаю, это полицейай, — ответил Саша.

— Это ж были партизаны, — разъяснил хозяин.

Партизаны ушли, и теперь Сашу заботило другое: как бы не заблудиться и найти то место, где его ждали люди, вверившие ему свою судьбу. Он нашел их. Проведя двое суток без еды и питья, они набросились на душистый крестьянский хлеб и сало, подкрепились и, дождавшись ночи, пошли дальше. На сей раз они достигли цели, попали в отряд.

ДЯДЯ МОРДУХ. ТЕТЯ РОЗА

Дядя Мордух, чьему мужеству и удивительной силе духа я обязана жизнью, погиб в одном из самых жестоких минских погромов, учиненных фашистами за убийство гауляйтера Кубе. Тете Розе тогда удалось укрыться в «малине». Ее и еще нескольких узников нашли не сразу, через неделю. Полицейский, который вел их на расстрел, уже совершенно обессиленных, сломленных душевно и физически, предложил бежать. Тетя Роза отказалась.

— Стреляйте, сыновья за меня отомстят, — сказала она.

После войны об этом рассказала Самуилу живая свидетельница мужественной гибели его матери. Она и еще несколько узников, в ком сохранились остатки сил, воспользовались высокой милостью полицейского и бежали. Попали в партизанский отряд, выжили, дождались победы.

Кто он, этот полицейский, который их спас, как сложилась его дальнейшая судьба, никому неизвестно. Может быть, он никому и не рассказал о своем поступке, не будучи уверенным, что он будет по-человечески принят, понят и расценен.

Обо всем этом я узнала в июле 44-го, когда мы, выжившие, пришли домой, в наше местечко, на свою улицу, к родному дому.

В счастливое первое утро нашей встречи отец проснулся рано. Долго стоял у моей постели, жалея будить. Но время торопило, и он негромко произнес:

— Дачушка, вставай. Красотку доить пора. Скоро в поле погонят.

Я быстро поднялась, и мы пошли с ним в хлев. Я увидела нашу Красотку. Она была такой же, какой я ее запомнила с довоенного времени: красивая, ярко-красной масти, с гордо поднятой головой, устремленными вверх молодыми рогами. Она спокойно и мудро жевала свою извечную жвачку. Это была наша Красотка. Наша довоенная кормилица и любимица, живое слагаемое нашей семьи, живой свидетель нашей радости и нашей скорби. Ее доила моя мама, она прикасалась к ее соскам.

Я присела на корточки, как положено, — справа. Красотка сосупилась, приняв удобную для меня позицию. Она не брыкалась и не била хвостом. Перестав жевать жвачку, покорно давала мне молоко, признав во мне своего, родного, близкого.

Бились и звенели упругие молочные струи, ударяясь о стенки поддольника. Казалось, исходит это живое теплое молоко вовсе не из коровьего вымени, а струится эта благодать свыше, из таинственных божественных высот. Все дорогие моему сердцу запахи смешались в нем. И пахло это мирное молоко свежескошенным сеном, и утренними травами в росе, и цветущим клевером, и медом. И еще оно пахло теткой Анцей и мамой.

В тот же день я написала письмо моим хозяевам. Я им сообщила, что нашла отца и поэтому к ним не вернусь. Я благодарила их за доброту и заботу. И еще я сообщила, что осенью пойду в школу, буду продолжать учебу, а на каникулы мы с отцом обязательно приедем к ним в гости. Но ответа я не получила. Мое второе письмо, отправленное приблизительно через месяц, тоже осталось без ответа.

В 1947 году отца разыскал его брат, проживающий в Америке. Началась переписка. Отец сообщил, что у него большая радость: крестьянин из белорусской деревни Яцевщина, что под Минском, в годы войны спас от гибели его дочь. В ответ пришло письмо от американских родственников. Они писали, что хотят отблагодарить моих спасителей и выслать для Жуковских посылку. Это был срок восьмой год, начало холодной войны. Я уже поступила на первый курс университета. А по поводу полученной американской

посылки отца вызвали в райком партии и предупредили: если он хочет, чтобы дочь продолжала учебу, то должен прекратить переписку, отказаться от посылки. Так она и осталась не востребовавшейся, а на письма мы перестали отвечать. В последующие годы все изменилось, перевернулось. Представление о добре и зле, благородстве и достоинстве потеряли свой изначальный смысл, девальвировались. В пресловутых анкетах при поступлении на работу я уже не писала, что была в гетто и как выжила. Это не было в чести, и поступок спасавших меня людей с точки зрения тогдашней официальной морали не выглядел героическим.

На долгие годы в водовороте событий, бед, тревог и болезней мы потеряли связь с семьей Жуковских. Нашлись в шестидесятые годы. Василь Маркович прислал письмо, приезжал несколько раз. В свой последний приезд, а было это весной 1960-го, он помог нам вскопать и засеять огород, отец уже был тогда безнадежно болен.

Помню, как мы загружали его «торбу» скромными гостинцами — крупой, хлебом, макаронами. Уже 35 лет храню первое письмо, полученное от моих хозяев, как самую дорогую семейную реликвию. Вот его содержание:

24. Января 1960 г. Письмо писана.

Письмо из дер. Яцевщины.

От Жуковского Василя Маркавіча і от хозяйкі Жуковскай Антаніны Ігнатевны. Здрастуй дарагая Соня. К тебе тішутъ твое хозеява в катарых ты была за няньку в час вайны. С приветам к тебя хозяінъ Васіль а также хозяйка Аньтя. Дарагая Соня, сколька лет прайшло с тех пор когда ты была у нас мы уже думалі што тебя где нібудь убілі. Но весё-же ты оказалась живая. Дорогая Сонечка мы как узнали что ты находишся то прямо сами не знали что делать. Хателі б напісатъ пісьмо но незнаем куда, но всёже дорогая Соня ты знала наш адрис і почему ты нам не напісала пісьма мыб тебя напісали пісьмо но не знали куда. Дорогая Сонечка когда получишь пісьмо то отпішы нам і дай свой адрис. Живётся нам пока што не плоха і мы сейчас работаем в савхозе.

Тепер опішу пару слов о сваіх детях. Дорогая Сонька к тебя пішет твой воспітанік Николай і Вера. Дорогая Сонька

пішет тебе Ніколай і Вера к тебе пісьмо тым же і про нас забыла. Ну конешна прайшло столькі времені смагла і забыть как мы і завёмся. Дорогая Соня. Ніколаю уже пашол 20 год его уже брали сёлята в армію но отпустили и сейчас работу в совхозе. А Вера учится шьтё ей уже тоже ісполнилас 17 лет. Дорогая Соня, перадаём тебя горячий привет от твоіх хозяевов і также от Ніколая і Веры. Дорагая Соня. Когда получиш наша пісьмо то отпішы нам, где ты находишься. На это свае маленькае пісьмо пока што заканчиваем і перадаём горячий привет твоим родным і знакомым и лично Соня тебя. Как узнаем где ты тогда опішым больше новостей. Пиродае горячий привет хозяін Васіль і также хозяйка Анэтя і Ніколай і Вера.

Жуковский Василь Маркавич.

І когда ты од нас поехала то спас що появглася одна девочка Женя ей уо/се тоже гсполилас 12 лет ходіт в школу в 5 клас. Дорогая Соня перадаём тебя горячий привет.

24/1-60 г.

Ждём ответа как солавей лета.

Жуковский Василь, Анэтя Ніколай Вера Женя.

Наш адрис

Молодяченская обл.

Радашковеческій р-н

Раковский с/с

Дер.Яцеещина.

От Жуковского Василя Марковича.

24 Января 1960 г. Зовано писано.
 Писано из дер. Яцеещина.
 От Жуковского Василя Маркавича, от
 соседки Жуковской Протасии Гнатальны.
 Вспоминаючи дорожную соню к тебе пишу твою
 твою хозяйку в которой ты была до войны
 в сое войны и приветами тебе от
 хозяйки Василя а также хозяйки Анэти.
 Дорогая соня сколько лет прошло с тех
 пор когда ты была училась там уже училась
 что тебе где тебе уже было
 но бедная ты оказалась живая. Дорогая
 соня сколько лет прошло с тех пор когда
 мы не знали куда, но видели дорожную
 соню/ты знаешь как ярыя і почем ты
 не пишешь письма мне тебе
 написав письмо не не знаешь куда.
 Дорогая соня когда получишь письмо

УМОЛЧАТЬ — СОГРЕШИТЬ

Мой отец вернулся домой, в Узду, в конце июля 1944 года. Пришел из партизан, где рядовым партизанского отряда им. Жукова бригады им. Молотова, прошел всю войну с ноября 1941 по июль 1944 года. Он возвращался домой, а попал на пепелище. Наш дом сгорел в 1942-м, во время боя партизан с оккупационным гарнизоном. Отец присел на уцелевший кирпичный фундамент, стал подсчитывать утраты. Погибли все: жена, дети, дальние и близкие родственники, друзья, соседи.

Отец вспоминал, что довоенные соседи и друзья, не евреи, те, кто выжил, окружали его вниманием, старались разделить с ним его боль и скорбь. Особую благодарность он испытывал к семьям Бокутей и Кастрицких из деревни Соколыцина, с которыми дружил с довоенных времён.

Какие мысли одолевали его тогда, у пепелища родного дома? Наверное, он думал о том, как жить дальше, без родных и близких...

В поисках утешения, спасаясь от одиночества, решил заняться поисками своих родных братьев, проживавших до войны в Америке. Уж они-то наверняка живы, — полагал он. В довоенные годы отец с ними активно переписывался. Особенно он почитал своего старшего брата Лазаря. Несмотря на годы и расстояния, между ними существовало абсолютное взаимопонимание. Но куда писать, если письма и американские адреса, которые он бережно хранил, сгорели вместе с домом?

Как найти адрес американского брата? В то время это была практически неразрешимая задача. У отца теплилась надежда на то, что американский брат будет сам искать его. Так и случилось. В конце 1946 года отец получил долгожданное письмо от брата из Америки. Теперь был адрес и родной адресат. Переписка возобновилась. Чтобы даже коротко изложить все то, что пришлось пережить в эти страшные годы, потребовалось не одно письмо. Письма писались с продолжениями. И, естественно, в первом из них отец сообщил брату главную радостную весть — нашлась его старшая дочь Сима (то есть я). Спасла ее семья белорусского крестьянина.

Мой американский дядя чрезвычайно обрадовался этому известию, попросил сообщить адрес этой семьи. Он хотел их отблагодарить — направить им материальную помощь.

В течение 1947 и начала 1948 года отец регулярно писал американским родственникам, получал от них ответы и посылки с вещами и продуктами. В трудные послевоенные годы это было серьезным подспорьем.

Хорошо помню, когда в 1948 году по решению ООН было создано государство Израиль, отец получил от брата письмо — поздравление по случаю этого знаменательного события. Заканчивалось это письмо предположением, что если бы до начала второй мировой войны на географической карте было государство Израиль, возможно, не случилась бы катастрофы.

К сожалению, радость общения с американским братом была недолгой. В середине лета 1948 года отца пригласил к себе первый секретарь Узденского райкома партии. Встреча была короткой и жесткой.

— Ты получаешь письма и посылки из Америки. Твоя дочь собирается поступать в Белорусский университет, твоя жена работает в госбанке бухгалтером. Если ты заинтересован в том, чтобы твоя дочь поступила в университет, а жена продолжала работать — прекрати переписку, откажись от посылок, — таково было распоряжение партийного руководителя района.

У отца не было выбора. Он перестал отвечать на письма, которые еще некоторое время продолжали приходить на его адрес, и отказался от получения посылок, полагая, что их отправляют назад отправителю. Но, как стало позднее известно, содержимым этих посылок без зазрения совести пользовался вышеупомянутый первый секретарь.

Навязанный разрыв отношений с братом отец тяжело переживал.

— Как жить дальше? На что надеяться? — спрашивал он. — Я не чувствую себя свободно в стране, которую считаю своей родиной. Я всю войну боролся против фашизма, и, надеюсь, внес свой вклад в победу над этим злом. Власти замалчивают трагедию еврейского народа, его роль в борьбе с фашизмом, участие в сопротивлении. Оказывается, быть узником гетто, избежавшим уничтожения, мягко говоря, сегодня не в чести.

Отец мучительно страдал в то мрачное время, когда, из-за набравшего обороты государственного антисемитизма, власти смотрели на узников гетто, как и на военнопленных, оказавшихся на оккупированной территории. Им не доверяли. Было больно и горько, но так было. Как говорится, из песни слов не выкинешь.

В 1948 году я закончила узденскую белорусскую среднюю школу и готовилась к поступлению в университет. Когда я оформляла документы для приемной комиссии, то отец взволнованно предупреждал меня:

— В графе анкеты, где нужно указать место нахождения в годы войны, не пиши, что находилась в гетто и в автобиографии об этом не указывай, иначе можешь не поступить. Я знаю, что говорю, ты еще маленькая, не понимаешь, что происходит в стране.

Я с ним согласилась, не стала возражать. Теперь я понимаю, что в той ситуации он, безусловно, был прав. О себе во время войны я написала так: « Находилась в партизанской зоне Ивенецкого района ».

К великой радости отца, я поступила в университет. Все годы учебы я скрывала от своих сокурсников, что была узницей гетто, да никто и не спрашивал. Когда в 1995 году в журнале «Неман» были опубликованы мои воспоминания, где я рассказала о пережитом, мои бывшие однокурсники, прочитав их, звонили и удивленно спрашивали:

— Разве ты была в гетто? А мы и не знали.

В студенческие годы я в течение пяти лет 2 марта посещала захоронение, именуемое теперь «Мемориальный комплекс «Яма»». Я приходила туда одна, никому ничего не сказав, скрывала это даже от своих близких друзей. Так глубоко проникло в мое сознание чувство страха быть разоблаченной в моем «преступлении» — пребывании в гетто.

У каждого своя «яма». Для одних — это памятник-символ, место боли и скорби по всем невинным жертвам катастрофы. Для других — памятник погибшим в минском гетто, независимо от того, в каком погроме они были уничтожены и где похоронены. Во многих странах мира установлены памятники, обелиски, созданы мемориальные комплексы в память о жертвах геноцида евреев Европы в годы Второй мировой войны.

Потрясают своей фундаментальностью Институт «Яд Вашем» в Иерусалиме, музей истории холокоста в Вашингтоне (США), мемориальный комплекс жертвам нацизма в Бостоне (США). В 2000 году в мемориальном парке Холокост в Нью-Йорке установлен «Камень памяти минского гетто», называется он тоже «Яма» и ежегодно 2 марта к нему приходят евреи из бывшего СССР, пережившие Холокост, их дети и внуки. И все эти памятники — символы.

Для меня минская «Яма» не символ, а конкретный памятник, установленный на конкретном месте, где, как мне известно, покоятся останки моей двоюродной сестры Симы. Она погибла в страшном погроме 2 марта 1942 года.

Я до сих пор не знаю, где похоронены погибшие в минском гетто моя мама, сестры, родственники. Поэтому я хожу на «Яму», считая, что, побывав там, я посетила родные могилы.

Мартовский погром 1942 года в Минском гетто датируется 2 марта. На самом деле он длился три дня — с 1 по 3 марта 1942 года.

Об этом страшном погроме и сказано и написано немало. Три дня в самом начале весны, когда уже пригревает солнце, а ночью растаявшие сугробы замерзают, превращаясь в ледяные горки, были выбраны фашистами во исполнение приказа начальства, приказавшего в течение трех дней уничтожить пять тысяч узников гетто.

Согласно специально разработанной «технологии» уничтожения, часть из пяти тысяч человек должны были быть уничтожены непосредственно на территории гетто, остальные — за его пределами. В гетто убийцы врываются в дома, расстреливали на месте, убивали прохожих. Шло освобождение гетто от евреев.

Одновременно был подготовлен железнодорожный состав, куда загонялись жертвы, предназначенные для уничтожения за пределами гетто. Была выбрана станция назначения — Койданово, что в 20 километрах от Минска. В назначенный день и час 2 марта 1942-го туда и прибыл железнодорожный состав — поезд смерти. Пассажиры — женщины, дети, старики. По прибытии их выгоняли из вагонов и вели к заранее вырытым траншеям, предварительно заставив раздеться и разуться. Обреченных гнали вдоль траншей, у которых их поджидали палачи, вооруженные пистолетами. Убитых, а подчас и живых, сбрасывали в траншеи. Предсмертные крики, раздирающие душу, были слышны далеко вокруг. Длилась эта экзекуция два дня — 2 и 3 марта 1942-го.

План кровавой «жатвы» предусматривал «урожай» в пять тысяч человеческих жизней. Но когда палачи подвели итоги, оказалось, что вышел недобор. Восполнили недостачу детьми-сиротами из детского дома гетто. Детей доставили к месту расправы. Расстреливали у ямы. Убитых и тех, кому в целях экономии не досталось пули, сбрасывали в ту могилу, которые мы теперь называем «Ямой».

В том погроме моей маме и нам, детям, удалось укрыться в убежище («малине»). Когда утихла стрельба и наступила мертвая тишина

в буквальном значении этих слов, мы вышли из укрытия. То, что мы увидели, не поддается описанию. Во дворах домов, на улицах лежали тела убитых. Их было много. Склоняясь над ними, бесшумно плакали и причитали уцелевшие в погроме родственники, соседи, знакомые.

Это горестное прощание длилось недолго. Наступил следующий этап экзекуции — захоронение тел убитых. Трупы, зацепив баграми или проволокой, стаскивали к яме. Выполняли эту работу полицейские-могильщики, им в помощь назначили и уцелевших в погроме узников. Мой двоюродный брат рассказывал, как он со своим знакомым юношей запрягались в санки, на которые укладывали примороженные ночными весенними заморозками тела убитых и тащили к яме. Там их укладывали штабелями, как поленья дров. Когда и эта работа была завершена, наступил следующий, заключительный этап экзекуции. Вот как об этом рассказывает свидетель этих событий Абрам Рубинчик в книге воспоминаний «Правда о минском гетто»:

«Под вечер всех убитых наконец притащили с ближайших улиц. Приехала машина с саперами. По распоряжению старшего из саперной команды, в мерзлой стене полицейские выкопали большое углубление. Нас оттуда прогнали и заложили взрывчатку. Мы видели только, что по знаку офицера саперы подожгли быстрогорящий шнур. Прогремел мощный взрыв. От произошедшего обвала земля накрыла братскую могилу.

Весной, когда снег растаял и в Яму побежали ручьи, многие тела расстрелянных всплыли. На ближайших улицах невозможно было дышать от запаха разлагающихся трупов. И снова немцам пришлось привести туда полицейскую команду, чтобы закрыть могилу землей».

Памятник на Яме установили вскоре после войны, в 1946 году, на пожертвования минчан, чьи родные и близкие погибли в гетто. Тогда, в пятидесятые годы, это скорбное место выглядело убого: в яме угрюмо возвышался одинокий памятник, а кругом — запустение, валялись пустые банки, бутылки, мусор.

И в 60-е картина была та же. В те годы я почти ежедневно бывала там, направляясь по семейным делам с тогда ещё существовавшей Колхозной улицы на тогда еще работающий Юбилейный рынок.

Изредка туда приходили люди, подчас спускались к памятнику, убирали мусор, стояли молча и расходились, порой кто-то оставлял

там цветы. Никаких почестей в память невинноубиенных не оказывалось.

Бывая на «Яме» в те годы, я много размышляла над тем, что происходит. В результате пришла к печальному выводу — теперь уже тихая катастрофа продолжается, глумлению над памятью ушедших никто не препятствует. Где тогда гарантия того, что катастрофа не повторится, и что о ней можно будет говорить в прошедшем времени?

Но так было. В силу существовавшей в течение десятилетий лицемерной политики государственного антисемитизма, замалчивался Холокост, делался вид, будто не существует «Ямы». Неправильно выделять трагедию еврейского народа из общей трагедии народа Беларуси, но нельзя забывать о геноциде евреев. Это, безусловно, еврейская трагедия, но отнюдь не еврейская проблема.

Воистину живущий да доживёт. Миновали мрачные времена, наступили 90-е годы, а с ними — создание независимого Белорусского государства. Новая власть вспомнила о своих гражданах — жертвах Холокоста.

В 2000 году место памяти и скорби «Яма» было реконструировано. К старому памятнику, расположенному на дне котловины, была добавлена скульптурная группа, изображающая спускающихся в небытие, обреченных на уничтожение, узников минского гетто. Скульптурная композиция была создана группой белорусских скульпторов и архитекторов (автор идеи и композиции Л. М. Левин).

Мемориальный комплекс «Яма» обрел, наконец, свое подлинное предназначение — стал символом трагедии белорусского еврейства.

В апреле 2008 года Беларусь отмечала 65-летие Хатынской трагедии. Митинг памяти проходил на месте трагических событий, у мемориала «Хатынь». Параллельно с митингом в Хатыни состоялся городской митинг. Местом его проведения власти города выбрали мемориал «Яма».

Наступил момент истины. Этим решением официальные власти, общественность, да и простые минчане, сформировали позицию, свидетельствующую о том, что трагическая судьба евреев граждан Беларуси и трагедия Хатыни рассматриваются как звенья одной цепи, страницы одной общей истории.

Мне довелось выступать на том траурном митинге на «Яме».

Я сказала тогда:

— Не бывает чужого горя, как не бывает чужого геноцида. Пламя, в котором сгорели ни в чем не повинные жители Хатыни, ничем не отличается от пламени, в котором сгорели загнанные в синагогу узники Раковского гетто. Это одна наша общая трагедия, одна наша судьба. Только такое понимание произошедшего, нашей общей истории, которая для нас никогда не станет прошлым, является надежной гарантией того, что катастрофа, геноцид, как мера абсолютного зла и безумия, никогда не повторится. Хочу в это верить!

КАК ОТОЗВАЛОСЬ СЛОВО

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...»
Ф. И. Тютчев

Нет выхода
Как пишете вы об этом?
Каким алфавитом пользуетесь?
Какими словами, каким языком?
Молчите каким молчанием
И криком каким кричите?
Я спрашивал всех лингвистов,
Всех поэтов, всех мудрецов,
Всех ученых и затем Самого Бога.
Он опустил Свою голову молча
И со вздохом указал Он
На самый темный лабиринт Свой,
Самый черный лабиринт Свой.
Он не решился войти в него,
Оттуда не было выхода.
Дж. Розенберг
(пер. с англ. А. Левиной)

Когда осенью 1999 года мне предложили принять участие в торжественных мероприятиях — презентации возрождающейся еврейской общины города Столина (Брестская область), я охотно согласилась. Мне давно хотелось побывать на Пинщине, где в начале 50-х годов начиналась моя педагогическая карьера, к слову сказать, там же она и закончилась.

Я оказалась в Пинске, поехав вслед за мужем. Он был туда распределен после окончания юридического института. Его назначили руководителем юридической группы Пинского облисполкома. Мне была предложена должность методиста по русскому языку в Пинском областном институте усовершенствования учителей, которую я охотно приняла. Кроме того, я преподавала русский язык и литературу в старших классах средней школы.

Коллектив института принял меня доброжелательно. Там работали опытные методисты-педагоги, энтузиасты своего дела. К отсутствию у меня педагогического опыта коллеги относились снисходительно, старались научить, помочь.

В наши обязанности входила инспекция школ района, обязательное посещение уроков своих коллег с их последующим анализом, оказание методической помощи им, подготовка рекомендаций по проблемам педагогики средней школы.

Учителя, уроки которых мы посещали, старались на нас, методистов, произвести благоприятное впечатление, а мы, как и положено проверяющим, старались найти недостатки. И, разумеется, находили...

Зачастую сельская школа представляла собой деревенскую избу, половину которой занимала печь. Мало похожи были на учеников и дети, плохо одетые, не всегда сытые. Добираться до школы из окрестных деревень им приходилось, порой, за несколько километров. Да и с учебниками были проблемы.

Справедливости ради следует отметить, что далеко не все учителя были вполне профессиональны.

Вспоминается курьезный случай. Мы присутствовали на уроке русского языка. Темой урока было правописание гласных после шипящих. Ученикам следовало подготовить домашнее задание — придумать на каждый случай правописания по одному предложению. Учитель долго изучал журнал и, наконец, назвал фамилию школьника, который, как он полагал, хорошо подготовился к уроку. Он, волнуясь, читает первое предложение:

— Пришла весна и по улицам потекли жури.

— Правильно, — одобрил учитель.

Также «правильно», по мнению учителя, были придуманы и остальные предложения.

Когда на педагогическом совете разбирался урок, я робко позволила себе сделать замечание учителю в связи с очевидным курьезом. Учитель мне возразил:

— Возможно, у вас, в Минске, это предложение посчитают неправильным, а у нас, в Пинске, это правильно.

О начале моей педагогической карьеры я рассказала не случайно. Моя связь со школами Пинщины через десятки лет имела продолжение, но об этом позднее.

В Столине, на автостанции нас встретили представители городской общественности и, прежде всего, строители, и, как сейчас принято говорить, «авторы проекта» — молодая супружеская пара, местные учителя Татьяна и Михаил. Это у них зародилась идея возродить еврейскую общину Столина. Воодушевленные этой идеей, они и представить не могли, с какими проблемами им предстоит столкнуться.

В Столине до Великой Отечественной войны проживало более 12 тысяч евреев. Еврейская община города славилась своими ремесленниками. Столинских мастеров на все руки знали не только на Брестчине, но и далеко за ее пределами. Все это кануло в небытие в конце 1942 года, когда гитлеровцы и полиция уничтожили столинское гетто. На окраине города, в урочище «Столинский лес» было расстреляно около 12 тысяч человек, практически все еврейское население города.

В то время, когда Татьяна и Михаил задумали возродить в Столине еврейскую общину, в городе проживали считанные евреи. Многие из тех, кто выжил в катастрофе, когда представилась возможность, перебрались за рубеж — кто в Израиль, кто в Америку. Некоторые ассимилировались. Кто-то скрывал свою национальную принадлежность, к чему их вынуждала бытовавшая в свое время политика государственного антисемитизма. Не так просто было вернуться к своим национальным корням.

Однако, несмотря ни на что, Презентация еврейской общины города Столина состоялась.

Согласно разработанному плану, согласованному с городскими властями, сначала состоялся митинг у памятного обелиска, установленного в северо-восточной части города в память о 12,5 тысячах погибших узников столинского гетто. Зал городского клуба был полон — бывшие соседи и друзья погибших евреев, сочувствующие и разделяющие идею возрождения еврейской общины, местная интеллигенция — учителя, врачи и среди них — единицы столинских евреев. Мне предложили выступить. Я сейчас уже не помню в деталях, о чем я тогда говорила. К присутствующим в зале учителям я обратилась персонально. Я рассказала им о том, как здесь, на Пинщине, начинала педагогическую деятельность. Минуло много лет, но связующая нить не оборвалась и встреча с новым поколением учителей вернула меня в те далекие времена, память о которых до сих пор жива в моем сердце.

Собираясь в Столин, я взяла с собой несколько экземпляров своих воспоминаний и подарила их присутствующим в зале учителям.

А учителя на то и учителя, чтобы «сеять разумное, доброе, вечное». Они действуют по принципу: прочти сам и передай другому. Прочитав воспоминания, они рассказали о них ученикам. И уже в мае следующего года на традиционном митинге у «Ямы», посвященном Дню Победы, меня разыскали Татьяна и Михаил. Они сообщили, что учителя из Столина попросили передать мне стихотворение их ученика.

Юношу с доброй, сострадательной душой, Ростислава Максимовича, взволновал сюжет из книги, где я рассказываю о своем деде, глубоко верующем человеке. На рассвете того страшного дня погрома, он, надев погребальные одежды и сотворив по себе и своей семье поминальную молитву, был готов принять смерть, но все же до последнего момента надеялся на спасение и Спасителя. Но когда понял, что спасения нет — он и вся его многочисленная семья погибли, он у края жизни произнес невероятные для него слова:

— Бога нет.

— Как? Вы, верующий в Бога говорите такие кощунственные слова, — ужаснулась его старшая невестка.

— Был бы Бог, он бы этого не допустил, — спокойно ответил дед.

Вот стихотворение семнадцатилетнего столинского школьника Ростислава Максимовича.

Ушли минувшие события войны,
Оставив след в душе глубокий.
Какие мира люди погибли,
Платя земле ценой высокой.
Униженный трудяга-старичок,
Сгибаясь над могильной ямой,
Спросил себя: «Иль есть на свете Бог?
Иль видит это Всемогуший самый?»

Не утихал ужасный пулеметный грохот,
И долго длился тот кромешный ад...
Издевки, ругань и фашистский хохот —
Все сыпались, как взрывы канонад.

Старик-еврей, увидев смерть немую
Всевышнему молиться перестал...
Скрестивши руки на груди вплотную
Под выстрелом винтовочном упал.

Что может почувствовать автор книги, которая смогла вызвать такой искренний отклик в формирующейся душе? Эти строки, пусть и не высокая поэзия, но это — крик страдающей души. А это выше всякой поэзии!

В 2001 году группа бывших узников гетто и концлагерей из Беларуси была приглашена в Германию. И я была в их числе. Проект этот осуществлялся Фондом Максимилиана Кольбе, известного в Германии общественного деятеля и гуманиста. Программа предусматривала знакомство со страной, оздоровительные мероприятия. Местом нашего пребывания был определен Кёльн, откуда мы совершали экскурсии в другие города, познакомились с достопримечательностями. В программу пребывания входило проведение урока на тему «Холокост» в 9-х классах общеобразовательных школ г. Кёльна. Формат урока был произвольным, однако в обязательном порядке он включал в себя рассказы о судьбах переживших Холокост.

Учитывая аудиторию, перед которой мне предстояло выступать, я, естественно, волновалась. Следовало соблюдать предельную корректность и деликатность, ведь новое поколение граждан Германии не должно нести ответственность за преступления того страшного режима, который повинен в произошедшей трагедии — Холокосте.

Я рассказала о том, что выпало мне пережить. Переводчик добросовестно переводил, дети внимательно слушали.

В заключение я посчитала уместным рассказать школьникам из Кёльна об их ровеснике, юноше из далекого и неизвестного им города Столина Ростиславе Максимовиче. Его стихотворение, как дорогую моему сердцу реликвию, я привезла с собой в Кёльн и принесла на урок.

Я попросила переводчика рассказать предысторию написания Ростиславом стихотворения, по возможности перевести его, сохранив при этом его поэтический и эмоциональный накал.

Судя по реакции класса, переводчику это удалось.

Я поблагодарила учеников за понимание и внимание ко мне. Но когда я уже собралась проститься с классом, поднялся симпатич-

ный застенчивый юноша и с тревогой в голосе и грустью в глазах произнес:

— Вы должны нас ненавидеть и имеете на это право. Мы виноваты перед Вами. Если сможете, простите нас, а мальчику Ростиславу передайте от нас привет.

Я ответила юноше, что я могу только любить его, если он берет на себя вину за то безумие, которое случилось не по его вине. Если школьник из Кёльна так чувствует и понимает произошедшую катастрофу, то есть надежда, что трагедия падения человечества в бездну варварства не повторится.

Слово отозвалось. Мне кажется, что нет ничего сильнее и мудрее, чем слово, сказанное вовремя.

МОИ ЗЕМЛЯКИ — СЕМЬЯ КРЫСЬКО

Телефонный звонок раздался осенним предзакатным утром. Звонок в непредусмотренное по бытующему этикету время настоятельно живаёт: поводов для дурных вестей хватает.

— Сіма, добрай раніцы. Гэта я, Ніна Крысько-Даўгалевіч. Прабач за ранні званок. Я прывыкла ўставаць рана. Наш тата казаў: хто рана ўстае, таму Бог дае. Мы ўсе «жаваранкі», уся наша сям'я. Званю таму, што прачытала твае ўспаміны. Трэба пагаварыць. Можна мне да цябе сёння прыйсці пад вечар?

— Прыходзь абавязкова, буду ўдзячна, рада сустрэчы з табой, — ответила я по-белорусски.

В 1944-м, когда в Узду стали возвращаться уцелевшие евреи — кто из партизан, кто из эвакуации, имя Алеся Крысько из деревни Бервищи, что в километре от Узды, было у всех на устах. Александр Иосифович и Татьяна Борисовна Крысько, подвергая смертельной опасности себя и свою многочисленную семью, спасли бежавшую из Узденского гетто еврейскую семью Грозовских.

Я не могла обойти это событие молчанием и посвятила ему несколько строк в воспоминаниях, хотя прямого отношения к истории моего спасения этот факт не имел. Нина, следуя узденской традиции, пришла с подарками.

— Гэта банка агуркоў, вырастала на сваім агародзе, гэта шчаўе, таксама сваё, еш на здароўе. Вось чаму да цябе прыйшла: хачу падзякаваць, што ўспомніла пра нас. Цяпер усім буду раскадваць, што пра нашу сям'ю ў кніжцы напісана. Тата з мамаю, на жаль, не дажылі да гэтага часу, і Ірыны ўжо няма ў жывых. Але ж не дзеля таго мы ратавалі людзей, каб пра гэта ў кніжках пісалі. Не гэта галоўнае. Галоўнае, што Бог даў сілу і мужнасць выратаваць цэлую сям'ю ад гібелі. Гэта па-першае. Па-другое, ты мала напісала. Калі ўжо ўзялася пісаць, дык трэба было пісаць падрабязней. Я табе ўсё раскажу, што і як было на самой справе, пакуль помніцца, пакуль жывая. Не стане мяне, і ўсё забудзецца. Трэба, каб помнілі. І, па-трэцяе. Хачу пераехаць жыць у Ізраіль. Там цяпер вучыцца мая старэйшая ўнучка Оля. Вельмі баляць мае рукі, ногі. Там я хоць адагрэюся на сонцы, падлячуся. Але для гэтага, як мне дакладна растлумачылі, я павінна атрымаць статус «Праведніка народаў свету». Дапамажы мне, калі зможаш.

Она приходила ко мне в течение трех вечеров и рассказывала... Рассказывала только о тех событиях, свидетелем и участником которых была сама. Передаю самое существенное из ее рассказов.

В Узде под гетто отвели две улицы — Ленинскую и Пролетарскую. Евреи, в основном, и жили на этих улицах. Те немногие, кто жил по другим адресам, были изгнаны из своих домов и по приказу оккупационных властей в течение суток должны были перебраться в гетто. Две улицы, где более пяти веков в добром соседстве с белорусами, татарами, поляками жили евреи, превратились в гетто. Это непривычное, пришедшее из средневековья слово, вызывало у его обитателей мистический страх.

17-го октября 1941 года, в день погрома, семья Грозовских разделилась. На рассвете Хаим Грозовский, глава семьи, укрылся у своей сестры в сарае за поленицей дров. Его жена Зинаида Грозовская с десятилетней Фаней в растерянности метались по дому, пока не услышали рокот моторов и крики соседей, которых немцы и полицаи загоняли в машины. В страхе они выбежали во двор и успели спрятаться в гумне, в стоге сена. В том убежище оказалась не только Зинаида Грозовская с дочкой, но и соседи по дому: старики, женщины с детьми. Сидели, замерев от страха, слышали дыхание друг друга. Немцы и полицейские несколько раз заглядывали в сарай, шомполами ощупывали сено, переворачивали рухлядь. Когда шомпол вонзился в руку Фани, она от боли сжалась, но не издала ни звука.

Все стихло — и пулеметные очереди, и рокот машин — только на рассвете следующего дня. Когда Зинаида Грозовская с Фаней вышла из укрытия, то во дворе они встретили шурина Хаима Грозовского, Шломо Цукермана и соседа по дому Вервея Левина с сыном. Сообща приняли решение — идти в Выдрицу, что в 8 километрах от Узды. Там находился смолокурный завод. Его управляющим был Александр Иосифович Крысько. Семейю Крысько хорошо знали Грозовские. Дружба между семьями была давняя, прочная. Такие безупречно порядочные люди, как Крысько, помогут, не оставят в беде.

В Выдрицу пришли ночью. К заводу примыкал сарай и жилой дом на две половины. В летнее время там собиралась вся семья Крысько, постоянно проживающая в деревне Бервищи. Старшие дочери помогали отцу вести хозяйство, досматривать скот, ухаживать за огородом.

К дому Крысько направился Шломо. Постучал в окно, ему открыл Александр Иосифович. Объяснения были излишними — ему и так все было понятно.

— Схаваем, выратуем, — был ответ Александра Иосифовича.

— Но там, в лесу, еще люди, если сможете, помогите, — умолял Шломо.

Риск был смертельным. В доме при смолокурне четверо малолетних детей. Старшие дочери Ирина и Нина находились тогда в Бервищах. Смолокурня — место бойкое: и немцы заглядывают, и полицаи. Неподалеку деревня Зеньковичи, где расположен полицейский пост, на смолокурне работают зеньковские мужчины, полицейские наряды постоянно наведывались в Выдрицу. Однако у Александра Иосифовича и Татьяны Борисовны не было ни минуты сомнений — решили спасти людей.

Всех шестерых привели ночью из леса, укрыли в сарае, покормили горячим, обогрели. И так в течение нескольких дней — днем укрывали в лесу, а ночью приводили в сарай при смолокурне.

Понимали и спасители, и спасаемые, чем они рискуют — укрывать шестерых евреев в проглядываемом со всех сторон убежище означало подвергать смертельной опасности и семью Крысько, и доверившихся им людей. И беглецы решили уйти, рассредоточиться по району. Шломо и Левин помнили, что у них есть знакомые по всей Узденщине: и в Соколыщине, и в Могильном, и в Хатлянах. Зинаида Грозовская раньше условилась с мужем, что если они не погибнут в погроме в Узде, то встретятся в деревне Островок.

Не хотели Крысько их отпускать, понимали, что на каждом шагу их подстерегает смерть. Однако доводы беглецов были убедительнее. Они ушли из Выдрицы. Левин с сыном и Шломо ушли раньше (об их судьбе позднее), а Грозовские направились в Островок. Там и состоялась встреча Зинаиды Грозовской с мужем. Укрыла их семья Кисель. Низкий им поклон, бабе Насте и ее сыну Владимиру, всей семье. Однако вскоре о том, что Кисели укрывают еврейскую семью, стало известно в деревне. Грозовские решили вернуться в Выдрицу. Александр Иосифович и Татьяна Борисовна приняли их вновь.

— Нікуды мы цяпер вас не адпусцім, будзем ратаваць, трымаць столькі, сколькі зможам. Такое мы прынялі рашэнне, — заявілі Крысько.

Тем временем наступил ноябрь. Нередко уже выпадал снег, а на свежевывавшем снегу отчетливо отпечатывались следы, ведущие от

землянки, где семья Грозовских укрывалась днем, к сараю, куда они перебирались ночью. Пронизывающий холод осеннего леса, приютившего полураздетых людей, постоянные наезды в Выдрицу полицейских вынудили Александра Иосифовича принять рискованное, но, как он полагал, единственно правильное решение — переправить семью Грозовских в деревню Бервищи и поручить дальнейшее их спасение своим старшим дочерям, 16-летней Ирине и 14-летней Нине. Никто в деревне и не подумает, что двое девочек-подростков прячут еврейскую семью. На этом построил свой расчет Александр Иосифович. Он, безусловно, понимал, какой опасности подвергает дочерей.

Ирина, Нина и маленькая Надя крепко спали в хате, когда раздался стук в окно.

— Гэта я, ваш тата. Адчыняйце хуценька, — сказал отец. Ирина открыла дверь.

— Я прывёў вам людзей, цяпер хаваць іх будзеце вы. Я ўсё вам раскажу дзе і як.

— Добра, тата, — ответила Ирина. Отцовские решения в этой семье не обсуждались.

Под укрытие приспособили старый ткацкий станок, хранящийся за ненадобностью на чердаке сарая. Под него настелили соломы, старые домотканые подстилки. Еду на чердак носили попеременно — то Нина, то Ирина. Делились последним. Когда не стало поваренной соли, использовали калийную, а когда совсем нечем стало кормить Грозовских, отправились Ирина с Ниной в Узду просить знакомых о помощи.

— Дапамажыце, сям'я наша галадае, пазычце мукі ці хлеба, скончыцца вайна — аддадзім, — умоляли девочки.

Пряталась семья Грозовских в деревне Бервищи под присмотром дочерей Крысько всю зиму 1941 и до половины лета 1942-го года.

Теперь время рассказать о судьбе бежавших вместе с Грозовскими Шломо и Вервеля Левина с сыном-подростком. Покинув Выдрицу, они разбрелись в поисках спасения в разных направлениях: Шломо направился в деревню Соколы, а Левин — в местечко Песочное, где его с сыном спрятала знакомая семья местных крестьян. Однако им скоро отказали в убежище и они в ноябрьские заморозки, оборванные, обутые в прохудившиеся башмаки, с отмороженными ногами, измученные холодом, голодом и страхом, снова пришли в Выдрицу. Александр Иосифович обогрел и накормил их,

дал во что переодеться и переобуться, и они ушли, ушли навстречу своей гибели. Некоторое время блуждали они по району, шли от деревни к деревне, пока не нашлись «сердобольные» земляки, которые выдали их полицейским.

— Вельмі красівы быў пятнаццацігадовы сын Левіна, шкада іх. Яны так хацелі жыць, — сокрушалась Нина Крысько, когда рассказывала об их гибели.

Вскоре и Шломо пришлось уйти из Соколы. Сколько смогли, скрывали его знакомые крестьяне. Решил Шломо вновь попросить спасения в семье Крысько.

Был конец ноября, уже выпал снег, в это время он не лежит долго, к полудню тает. В то злополучное утро снег лежал прочно и надежно, и следы плутовавшего по нему человека были отчетливо видны. И надо было в то же время случиться полицейскому патрулю. Полицай по фамилии Голуб обходил «свои владения». Кому могут принадлежать следы на снегу, у Голуба, поднатеревшего в деле вылавливания уцелевших евреев, не вызывало сомнения.

— Гэта не інакш, як жыдоўскія сляды. Хто і куды будзе блукаць у такі час? — рассудил Голуб.

Как опытный охотник, отслеживающий добычу, полицай шел по следу, шел медленно, на большом расстоянии, чтобы не спугнуть жертву.

Такая удача — на ловца и зверь бежит. Шломо ни разу не обернулся. Он вошел во двор, по лестнице взобрался на чердак сарая. Тут и настиг его полицейский, согнал с чердака, разул — сапоги неплохие, пригодятся, и пиджак понравился — велел снять.

Затем хладнокровно застрелил Шломо, зашел в дом, поднял с постели хозяина, отчитался о «проделанной работе».

— Гэты жyd ішоў да вас, як да цёшчы на бліны, а я ўзяў і застрэліў яго.

Александр Иосифович сбил деревянные носилки, положил на них тело убитого, покрыл постилкой и похоронил на опушке леса.

В июле 1942 года Грозовских вновь переправили в Выдрицу, Александр Иосифович подготовил для них более надежное укрытие — в лесу выкопал землянку. Место то было болотистое, но зато хорошо замаскированное. Но где болото, там и комары. Борются с ними в болотистой местности бессмысленно. Особенно доставалось Фане — чем больше она их отгоняла, тем ожесточеннее они ее кусали.

Семья Крысько держала землянку в лесу под непрестанным присмотром. Под разными предлогами то родители, то старшие дочери приходили в лес. В целях конспирации брали серпы и на виду у всей деревни шли якобы накосить немного травы для скотины, а на самом деле в подстилке приносили еду, шли в лес с лукошками, по грибы или ягоды, а в лукошке — продукты, чистая одежда.

Александр Иосифович понимал, что землянка — временное пристанище. Он планировал выйти на связь с партизанами, которые, как ему было известно, уже активно действовали на территории Узденского района. Однако первая попытка переправить к партизанам скрывающихся закончилась безрезультатно: не захотел командир партизанского отряда брать в отряд еврейскую семью да еще с ребенком.

Наконец, после долгих усилий задуманный Александров Иосифовичем план увенчался успехом. Передал он Грозовских, как говорится, из рук в руки, начальнику разведки партизанского отряда «Боевой» Денису Григорьевичу Зайцеву. И были эти руки надежные, сердце доброе, душа светлая, праведная.

Партизанское пополнение не подвело Зайцева. Зинаида Грозовская стала поваром и санитаркой, выхаживала раненых, ставила их на ноги. И Хаим не стал обузой для отряда, а сделался добросовестным и исполнительным партизаном. При первой возможности Хаим Грозовский побывал в Выдрице. Вооруженный автоматом, одетый и обутый по-партизански, он пришел поблагодарить семью Крысько, низко поклониться им.

В мае 1945-го пришла Победа. Вернулся с войны Хаим. Праздновали победу вместе — Крысько, Зайцевы, Грозовские. Было шумное застолье и особая радость, настоящая на горечи и боли утрат. И вспоминали, вспоминали...

Вспоминал Денис Григорьевич Зайцев, как нес десятилетнюю Фаню на плечах, когда уходили от преследования по топкому болоту, иначе утонула бы маленькая Фаня, накрыло бы ее болото с головой.

Послевоенные трудности переносили мужественно, неизбежные беды и радости делили поровну, намертво спаянные выпавшими на их долю испытаниями.

Первое послевоенное десятилетие пролетело, как один миг. Все торопились жить, наверстывать упущенное. Три тяжелых военных

года тянулись как столетия, а послевоенные — мелькали, как дни, и некогда было остановиться, оглянуться. Затем жизнь вошла в спокойное, размеренное русло и потекла по неумолимому кругу.

В 1973-м не стало Александра Иосифовича Крысько. Ушел из жизни человек, каких изначально мало на земле. Невосполнимая, горькая утрата.

Известно, что общечеловеческие трагедии и беды, выпавшие на долю поколений, переносятся легче, чем личное: что всему миру, то и тебе. Но личная трагедия — это совсем другое.

Когда закончилась война, то Александр Иосифович ликовал в душе — он спас от неминуемой гибели еврейскую семью. Совершал он этот подвиг по зову сердца, так как не мог поступить иначе. Ему казалось, что эту радость должен разделить с ним весь мир и, в первую очередь, его односельчане. А вышло все иначе — односельчане его осудили, отвернулись от него. Их логика была проста: узнай о его поступке немцы и полицаи — погибли бы все: и вся деревня, и вся семья Крысько. Были и другие мотивы его осуждения.

Александр Иосифович перенес тяжелый душевный кризис, надлом. Татьяна Борисовна и старшие дети понимали и знали, какую боль носил он в своем сердце, так как и сами ее переживали.

В 1984 году скончался Хаим Грозовский. Хоронила его вся Узда.

За поминальным столом семья Крысько, Зайцевы, соседи, друзья. Как принято, произносятся траурные речи. Помянули Александра Иосифовича, который даровал покойному целую жизнь. Сорок послевоенных лет досталось ему в подарок от семьи Крысько.

Теперь эстафета памяти перешла к вдовам — Татьяне Борисовне Крысько, Зинаиде Ильиничне Грозовской, их детям и внукам.

В 1990 году приняла решение уехать в Израиль младшая, родившаяся уже после войны, дочь Грозовских Валентина. Зинаида Ильинична решила следовать за ней. Одинокая старость в обветшалом доме в Узде, болезни, привязанность к младшей дочери и внукам предопределили ее решение.

У последнего, прицепного вагона поезда Минск-Москва собралась взволнованная толпа провожающих, среди них — семья Крысько. Я очень хорошо помню то грустное прощание. Зинаида Ильинична вошла в вагон первой. Маленькая, сухонькая, закутанная в теплый платок, потерянная и испуганная, вся в слезах, она вглядывалась из окна вагона в толпу провожающих, искала родные лица. Находя знакомые глаза, тихо плакала и долго махала рукой.

Привыкала она к новой жизни трудно. Не переносила жары. Душными израильскими вечерами выходила во двор, искала собеседников, говорящих по-русски или на идише, а когда находила, все рассказывала и рассказывала, а рассказать ей было о чем.

В семье Крысько, как самая дорогая реликвия, хранится единственное письмо Зинаиды Ильиничны, присланное им из Израиля.

— Абавязкова нагадай пра гэта пісьмо ў сваіх успамінах пра нас, — просила меня Нина Крысько.

В Израиле Зинаида Грозовская впервые узнала о том, что мир помнит и чтит тех, кто, рискуя жизнью, спасал евреев. Она узнала, что в Иерусалиме есть Институт «Яд Вашем», музей катастрофы европейского еврейства и что в честь каждого праведника высажены деревья, а имена их выгравированы на Стене Почета. Она понимала, что ее святой долг — представить семью Крысько к этому высокому званию. Кто, как не они, достойны этой чести?

К сожалению, для Зинаиды Ильиничны, к тому времени уже на девятом десятке, с частичной потерей зрения и провалами в памяти, составить документ, соответствующий требованиям Института «Яд Вашем», оказалось делом непосильным.

Стали ждать приезда дочери Фани, которая тоже решила перебраться в Израиль из Беларуси. Она — непосредственный участник тех трагических событий, ее детская цепкая память хранит всё, она и оформит эти документы.

Фаня эмигрировала в Израиль в 1991 году. Водоворот событий, адаптация к условиям жизни в новой стране... Необходимые документы о присвоении семье Крысько Почетного звания «Праведник народов мира» поступили в Институт «Яд Вашем» в 1995 году.

К сожалению, и отдел «Праведники народов мира» Института «Яд Вашем» не торопился с рассмотрением ходатайства Грозовских. В ответе из «Яд Вашем» от 29.01.97 года, направленном на имя дочери Крысько Нины Александровны Крысько-Довгулевич сообщалось:

«...Мы открыли дело № 9903 на имя вашей семьи и хотим ходатайствовать перед специальной комиссией о присвоении Вам почетного звания «Праведник народов мира» ... из-за большого потока материалов проходит, как правило, около года со дня передачи дела на комиссию до его рассмотрения, но мы постараемся, насколько это возможно, ускорить процесс его продвижения».

В результате решением отдела «Праведники народов мира» Института «Яд Вашем» 4 января 1998 года Александру Иосифови-

чу и Татьяне Борисовне Крысько было присвоено почетное звание «Праведники народов мира». Медаль и почетная грамота на имя спасителей были вручены сотрудниками израильского посольства в Белоруссии Нине Александровне Крысько-Довгулевич 22 апреля 1998 года. По просьбе Нины Александровны публикую ксерокопию этой реликвии.

К тому времени уже не было в живых Александра Иосифовича, в 1992 году скончалась старшая дочь Крысько — Ирина, в 1996 году не стало Татьяны Борисовны, в 1997 году умерла Зинаида Ильинична Грозовская.

— Я не хацелі ісці за гэтым дыпламам. Таты няма ў жывых, няма ні маці, ні Ірыны. А былі бы жывыя, думаю, што не лічылі бы гэта галоўным. Не дзеля дыпламаў і медалёў ратавалі яны людзей, а таму, што так дыктавала ім іх чалавечая годнасць і сумленне. Аднак, дажыві яны да гэтага часу — і бацька і Ірына — ім было бы вельмі прыемна. — Так рассуждала Нина Александровна.

При получении диплома «Праведники народов мира» за родителей у Нины Александровны состоялся разговор с сотрудником израильского посольства, курирующим вопросы праведничества. Он внимательно изучил все документы, касающиеся участия старших дочерей Крысько в спасении семьи Грозовских, затем неоднократно беседовал с Ниной Александровной и, в результате, пришел к выводу, что у них (старшей сестры Ирины уже не было в живых) есть все основания претендовать на получение звания «Праведник народов мира». Следует только Фане Грозовской оформить декларацию и представить в отдел «Праведники народов мира» Института «Яд Вашем».

Это меняло положение вещей. Тогда, полагала Нина Александровна, она сумеет побывать в гостях в Израиле. Она надеялась, что ей позволят навестить старшую внучку, которая тогда там училась, увидеться с дочерьми Грозовских — Фаиной и Валентиной, побывать на могиле Зинаиды Ильиничны, а если ей уж очень понравится в Израиле, то остаться там жить. Статус «Праведника народов мира» предоставил бы ей эту возможность.

Вскоре по совету сотрудников израильского посольства в Минске Нина Александровна направила в отдел «Праведники народов мира» Института «Яд Вашем» ходатайство о предоставлении Ирине (посмертно) и ей, Нине, Крысько почетного звания «Праведник народов мира».

Ответ на письмо Нины Александровны из «Яд Вашем» датирован 22.04.1998 года. Привожу его ксерокопию.

Получив это долгожданное письмо, Нина Александровна сразу пришла ко мне посоветоваться, какими должны быть ее дальнейшие действия. К тому времени мне удалось узнать, что Фаина Грозовская подтвердила ходатайство Нины Крысько о присвоении ей и Ирине (посмертно) звания «Праведник народов мира». Однако письмо в «Яд Вашем» господину Мордехан Полепиэлю с указанием израильского адреса Фаины Грозовской мы отправили. У меня сохранилась его копия. Привожу ее.

И, наконец, долгожданный звонок.

— Сіма, гэта я, Ніна. Магу цябе павіншаваць. Урэшце я атрымала доўгачаканы ліст. Рашэннем «Яд Вашэм» ад 6-га кастрычніка 2000 года мне і Ірыне, на жаль, не дачакалася, прысвоена ганаровае званне «Праведник народов мира».

Я искренне обрадовалась и за них и за себя.

Торжественная церемония вручения почетной медали и диплома «Праведник народов мира» состоялась в Минске. Диплом вручали сотрудники Израильского посольства. Я присутствовала на том торжестве. Помню, как волновалась Нина Александровна, когда произносила положенную по протоколу ответную благодарственную речь. Говорила запинаясь, но разумно, лаконично, сказала все, что положено говорить по поводу такого знаменательного события.

И отметили мы это событие в уютном, просторном доме, построенном буквально своими руками семьей Крысько-Довгулевич, в кругу детей, внуков, младшей сестры Нины Александровны — Надежды. Богатый стол ломился от изобилия домашних солений и варений. Было светло, тепло и, одновременно, грустно.

Наша дружба, наши отношения перешли в телефонный формат — мы часто звонили друг другу, обменивались новостями.

Я знала, что Нина Александровна часто болела, жаловалась на одолевающие ее недуги. Однако, к своему здоровью относилось скорее небрежно, чем бережно.

И вдруг, как часто бывает, неожиданный телефонный звонок.

— Сіма, я табе тэлефаную з бальніцы. Ляжу ў кардыялогіі ў 2-й гарадской бальніцы, калі зможаш, наведай мяне.

Я ее навестила. Мы долго беседовали, вспоминали. Было это в 2002 году.

— Вось бачыш, не здзейсніліся мае планы, мае летуценні, хваробы апанавалі мяне і няма мне ад іх выйсця, пазбаўлення, — сокрушалась она.

Нина Александровна скончалась 6 января 2003 года. Похоронили ее на малой родине, на Узденском кладбище, упокоилась она рядом с матерью, Татьяной Борисовной, сестрой Ириной. Вечная ей память и покой.

Я тяжело пережила эту утрату. Дабы не оборвалась связующая нить, соединяющая меня с этой праведной семьей, разыскала адрес и телефон Надежды Александровны Крысько, младшей сестры Нины Александровны. Тогда, когда семья Крысько спасала семью Грозовских, ей было 6 лет. Родители и старшие сестры скрывали от нее и еще троих малолеток — дети, вдруг проговорятся, что прячут еврейскую семью. Надежда Александровна мне рассказывала, что догадывалась о том, что на чердаке прячутся люди, но изображала неосведомленность, дабы не смутить родителей.

Мы звонили друг другу, не скажу, чтобы очень часто, но никогда не забывали поздравить по установившейся традиции с праздниками: я ее с христианскими, она меня — с иудейскими.

Я очень дорожила ее телефонными звонками, чувствовала, что и мои звонки и моя память об их семье ей тоже дороги.

В октябре 2008-го долго не могла дозвониться, не отвечал телефон. Я настойчиво продолжала звонить. И, наконец, мне ответил мужской голос. Я, ничего не подозревая, попросила:

— Пригласите к телефону Надежду Александровну, — И услышала в ответ:

— Я не могу ее пригласить. Она умерла.

Я только спросила:

— Когда?

Последовал ответ:

— 1 октября 2008.

Слова беспомощны и бессильны выразить боль, отчаяние и скорбь.

Ее похоронили в Бервище, там, где похоронен ее отец Александр Иосифович Крысько.

В Законе об Институте «Яд Вашем» в пункте 9, в частности, записано:

«Увековечить память благородных не евреев, которые рисковали собственной жизнью для спасения евреев». Таким образом госу-

дарство Израиль законодательно заявило о своем долге почитать тех, кто приходил на помощь евреям, рискуя собственной жизнью и жизнью своих близких в обстановке всеобщего равнодушия и, нередко, прямого соучастия в геноциде местного населения. Не каждому дано стать праведником. Праведники — это тонкий, золотосный слой любой нации. Их, по определению, не бывает много, зато они являются гордостью и честью нации, определяют ее место в ряду других народов и государств, ее величие и бессмертие.

Время бежит, торопится. Уже остались в живых единицы, кто помнит и может свидетельствовать о подвиге семьи Крысько. Уходят и последующие поколения тех, кто знает о подвиге их земляков. Новое поколение учеников Узденской средней школы, в которой учились дети Крысько, думаю, что не знают ничего о своих земляках-героях. А что, если назвать эту школу, которая гордится своими выпускниками, именем Александра Крысько?

И тогда последующие поколения учеников спросят:

— Кто такие Крысько?

И учителя расскажут ученикам об их славных земляках, их великом подвиге.

ГОЛУБЫЕ ЕЛИ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НА УЗДЕНСКОМ ПОГОСТЕ

Галина Ефимовна Релькина умерла в августе 2007 в возрасте 91 года в городе Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Смириться с этим невозможно. Вопреки всем законам природы, она и смерть — понятия несовместимые. Она ассоциируется только с жизнью.

Когда в 1997 году были напечатаны мои воспоминания, я один экземпляр тут же отправила ей в Нальчик. Прочитав книгу, она вскоре позвонила мне:

— Сима, я читала и рыдала, не смогла уснуть. Ты совершила большое дело...

Больше она не сказала ни слова и повесила трубку.

Мне показалось, что она обижена на меня, что-то не договаривает. Как выяснилось позднее, я оказалась права — ее обидело, что в книге я о ней ничего не сказала.

Я осознаю, что обида была справедливая.

Галина Ефимовна родилась в 1916 году в местечке Узда Минской области в семье ремесленника. Её родители — Ейхун и Геня Релькины — были скромными, трудолюбивыми, уважаемыми людьми. У них был ухоженный дом, огород, хозяйство. Галина Ефимовна получила среднее образование. До войны она со своей семьей — мужем, двумя маленькими дочерьми, трех- и двухлетними Аней и Софой, жила в Минске, работала в Сталинском райисполкоме.

По существующей в семье традиции каждый год летом она приезжала с детьми в Узду навестить родителей. Так было и летом 1941 года, а в июне началась война...

Галина Ефимовна оказалась в безвыходной ситуации — ни в Минск возвращаться, ни в Узде оставаться.

Летом 1941-го все еврейское население местечка загнали в гетто.

Погром был назначен на 17 октября 1941 года. Район гетто на рассвете был оцеплен немцами и полицейскими. Не было сомнения, что надвигается катастрофа. И вдруг по гетто разнесся слух: стариков, женщин и детей не тронут, будут только отбирать молодых мужчин и женщин для принудительных работ то ли в Германии, то ли в Минске. В минуты отчаяния человек готов верить в любой миф. Галину Ефимовну родители укрыли на чердаке своего дома. Страшно представить, как она отрывала от себя рыдающих малю-

ток. Взобравшись на чердак, она обнаружила в торце кровли застекленное маленькое окошко, из которого можно было наблюдать за тем, что происходило во дворе дома. Лучше бы она не нашла этого окна... Тогда бы у нее оставалась надежда, что палачи не убили ее престарелых родителей и малолеток-девочек, которые с любопытством наблюдали за происходящим — они не боялись смерти, потому что не знали, что это такое.

Галине Ефимовне выпало увидеть всё — у нее на глазах убили ее детей и родителей. В одно мгновение время разделилось надвое: на время до и после, когда ушли в небытие основные слагаемые жизни, ради которых живет человек на земле — родители и дети. Она осталась жива, но подчас жить страшнее, чем умереть.

Но Галина Ефимовна оказалась сильнее судьбы.

Она выжила в том погроме, бежала из Узды, но попала из ада в ад — в Минское гетто. «Обогащенная» горьким опытом, она не питала никаких иллюзий, понимала, что и узники Минского гетто обречены на уничтожение.

О том, как она вышла на подпольную организацию, уже действующую в гетто, она никогда не рассказывала, порой, как бы между прочим, говорила, что была подпольщицей. О её работе в подполье я узнала из других источников. Так, в газете «Вечерний Минск» за 2002 год в семи номерах (135, 140, 147, 159, 180, 186) под рубрикой «Они сражались за Родину» был опубликован материал, подготовленный сотрудниками Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Публикация содержит перечень участников подпольной организации, действовавшей на территории минского гетто. Среди перечисленных имен — имя Галины Ефимовны Релькиной:

«Релькина Галина Ефимовна, 1916 г. р., уроженка г/п Узда, Узденского района Минской области, член ВЛКСМ, образование среднее. До войны работала в Сталинском райисполкоме г. Минска. В годы войны проживала в Минском гетто. В июле 1943 года ушла в партизанскую бригаду «Буревестник»».

О том, как Галина Ефимовна ушла из гетто в партизаны, мне рассказала Тамара Владимировна Лопатик-Гусаревич. Подвиг ее родителей, Владимира Викторовича и Марии Андреевны Лопатиков, старших братьев Виктора и Владимира, был оценен Израильским мемориальным институтом «Яд Вашем». Решением от 15 апреля 2002 года им за спасение жизни узницы минского гетто Галины

Ефимовны Релькиной было присвоено почетное звание «Праведников народов мира».

Наша встреча с Тамарой Владимировной состоялась совсем недавно, в марте 2009 года. Ее рассказ помог мне уточнить некоторые детали военной биографии Галины Ефимовны, о которых я практически ничего не знала.

Оказавшись в Минском гетто, Галина Ефимовна вскоре вышла на связь с партийным подпольем. Для нее подпольщики изготовили паспорт на имя Марии Федоровны Морозовой. С ним, переодевшись крестьянкой, она выходила за пределы гетто, исправно выполняла задания руководства подполья. Так продолжалось несколько месяцев. Но однажды на условленное место, где должна была состояться ее встреча со связной Анной Яковлевной Романенко, та не явилась.

Галина Ефимовна не знала, что гестапо выследило и разгромило подпольную организацию, в Минске шли повальные аресты. Растерянная, она не знала, как поступить. В этот момент ее окликнул какой-то мужчина:

— Галина Ефимовна, что вы здесь делаете, куда направляетесь? В городе облава. Вам надо укрыться, идите за мной, я вас спрячу.

Это был Владимир Викторович Лопатик. В Галине Ефимовне он узнал свою довоенную сотрудницу. Состоялась эта встреча летом 1942 года в районе Суражского рынка.

Владимир Викторович понимал, какой опасности он подвергает себя и свою семью, спасая советского работника, да еще и еврейку.

Он привел ее в дом № 9 на улице Гарбарной (теперь Ульяновская). Этот дом на долгие месяцы стал убежищем для Галины Ефимовны, а семья Лопатиков родной на всю жизнь.

Прежде чем предложить ей постоянное убежище, Владимир Викторович согласовал это решение с членами семьи — женой Марией Андреевной, сыновьями Виктором и Владимиром. Решение было единодушным — будем спасать, тем более, что у них уже был опыт: они скрывали малолетнюю девочку Валью, довоенную подружку-одногодку Тамары, младшей дочери Лопатиков.

В целях конспирации для любопытствующих соседей была придумана версия: Галина — двоюродная сестра Владимира Викторовича, приехала из деревни, временно будет жить у них. К тому времени, когда Галина Ефимовна поселилась в этой семье, сыновья Виктор и Владимир после долгих поисков партизан, достигли

цели — Виктор уже находился в партизанском отряде, а связь у него с семьей была постоянная.

Галина Ефимовна не прекращала своей подпольной деятельности: получала через связных газеты, распространяла их по районам. Теперь в этом ей помогала семья Лопатиков.

Вместе с Марией Андреевной они ходили на явочную квартиру в районе Комаровского рынка, в дом, где проживала Ядвига Михайловна Савицкая. Там женщинам давали газету «Звезда», печатавшуюся в подполье, листовки, другие газеты, и они распространяли их по районам Минской области.

Тамара Владимировна Лопатик-Гусаревич, младшая дочь Лопатиков, рассказывала мне, как для конспирации, чтобы у полицаев не возникли подозрения, что в повозке может находиться запрещённый груз, ее, ребенка, сажали поверх повозки, на дне которой были спрятаны нелегальные издания. В случае обыска, чтобы откупиться, брали для полицаев самогонку, а для немцев — куриные яйца. И добиралась эта смертельно опасная экспедиция до Несвижа, Городеи, Слуцка, Копыля.

Уже позднее, став партизанкой, Галина Ефимовна, когда приходила в Минск с боевым заданием, неоднократно останавливалась в ставшей ей близкой семье, порой ночевала у них. И надо было такому случиться, в одну из ночей, когда гестаповцы оцепили близлежащие кварталы города и устроили повальные обыски, Галина Ефимовна осталась у Лопатиков ночевать. Возможно, по наводке «доброжелателей»-соседей очередь дошла и до их квартиры.

— Попробую бежать через чердак. Если меня здесь найдут, вы все погибнете, — увидев из окна немецкий патруль, решительно заявила Галина Ефимовна.

— Никакой паники, Галина, быстро в постель, вы больны тифом. Скорее положите ей на лоб мокрый платок, — спокойно распорядился Владимир Викторович.

Шумно ворвались немцы, потребовали предъявить документы.

— Это паспорт моей жены Марии Андреевны. Это моя дочь Тамара, ей 7 лет, у нее еще нет паспорта, а это двоюродная сестра моей жены Мария Федоровна, — показал на лежащую в постели Галину Ефимовну нерастерявшийся Владимир Викторович.

— Почему лежит? Встать! — Потребовал офицер.

— Осторожно, господин лейтенант, она больна, у нее брюшной тиф. Это очень опасно и для вас, — спокойно объяснил Владимир

Викторович. Помертвевшее лицо «мнимой больной» было убедительнее любых доказательств. Гестаповцы торопливо попятились к двери. Так во второй раз Владимир Викторович спас Галину Ефимовну.

Решение переправить ее в партизанский отряд тоже принимал Лопатик-старший. К тому времени оба его сына уже находились в партизанском отряде. Три раза приходил за ней один из них в Минск. Но только в четвертый раз сложились благоприятные условия, и Владимир привел Галину Ефимовну в партизаны, в отряд имени Кутузова бригады «Буревестник».

Казалось, что цель достигнута — она, наконец, среди своих. Ее прибытие совпало с провалившейся боевой операцией отряда. Во время боя прервалась связь со штабом — кто-то перерезал телефонный провод. Следующая операция оказалась неудачной по той же причине — вновь была нарушена связь.

Кто совершил диверсию, на кого могут пасть подозрения? Естественно, на Галину Ефимовну — она — новоприбывшая и, к тому же, еврейка. Командир отряда принял решение быстро, не задумываясь — расстрелять.

Теперь трудно сказать, какие чувства, вынося свой вердикт, испытывал командир отряда. А Галина Ефимовна, спустя годы, рассказывала, что держалась спокойно, не унижалась, не просила о пощаде. Тогда ей смерть была не страшна — она через многое прошла, потеряла всех и всё.

Разрешил ситуацию комиссар отряда Мехти Темирканович Кульчаев. Он умирил пыл сторонников расправы без суда и следствия, уговорил не торопиться с расстрелом.

— Расстрелять ее мы всегда успеем. Дадим ей испытательный срок, проверим на верность Родине. Я готов взять ее на поруки, — убеждал сторонников расправы Кульчаев. Командир отряда согласился с комиссаром.

А Галине Ефимовне испытательный срок заменили ответственным заданием — ей следовало пробраться в Минск на явочную квартиру и выполнить особо ответственное поручение. Только в том случае, если она справится с заданием, с нее снимут все подозрения, — заявило руководство отряда.

Поручение она успешно выполнила. И что было для неё особенно важно, была восстановлена репутация Виктора и Владимира Лопатиков, приведших ее в партизанский отряд. А вскоре был выявлен

и провокатор, перерезавший линию связи. Вот как в воспоминаниях, опубликованных в 1967 году под названием «За огненной чертой», Мехти Темирканович Кульчаев описывает момент встречи Галины Релькиной, вернувшейся в лес после удачно выполненного задания:

«На волчьем острове» Галине Релькиной партизаны устроили радостную встречу. А она, смущенная и счастливая, подошла к Мормулеву и доложила:

— Товарищ командир, партизанка Релькина возвратилась с задания. Медики доставлены. Разрешите приступить к своим обязанностям.

Скупой обычно на проявление чувств, на этот раз Мормулёв шагнул к ней и крепко обнял. А я стоял рядом и улыбался. Я был рад, что Галя успешно выполнила опасное поручение, что Зубков оказался неправ, что в фашистском тылу живут и борются с ненавистным врагом незаметные простые советские люди, готовые в любую минуту на смерть и на подвиг».

Между Галиной Релькиной и Мехти Кульчаевым возникла дружба, выдержавшая немислимые испытания. Затем дружба переросла в любовь. Это была любовь красивых, мужественных людей, горячая и беззаветная.

В 1944 году, после освобождения Беларуси и роспуска партизанских отрядов, они поженились в Минске, в буквальном смысле на его развалинах.

Под жильем приспособили чердак старого деревянного дома.

Тогда, в 1944-м, этот знаменитый чердак, ставший предметом семейных легенд, был обустроен Галиной Ефимовной и превратился в уютное жильё. Уют создавали укрытые старыми пледами продавленные кресла, круглый стол, покрытый живописной скатертью, вытертая ковровая дорожка, которая прятала выщербленные половицы чердачного настила. В доме всегда была огромная кастрюля щей, которыми гостеприимная хозяйка потчевала всех гостей. В то голодное время это много стоило. Но все это были второстепенные атрибуты быта. Тепло и расположение исходило от хозяев этой квартиры-чердака.

9 мая 1945-го года — первый день Победы. Новый праздник решили отпраздновать в Узде. И кто смог бы определить, чего в том празднике было больше — слез или радости? Для Галины Ефимовны слез было больше.

После праздников наступили будни. Мехти Темирканович Кульчаев был избран первым секретарем Минского сельского райкома партии. Они по-прежнему продолжали жить на чердаке, и было там по-прежнему тепло и хлебосольно.

Я часто бывала там в 50-е годы, когда училась в университете. После занятий приходила угоститься щами, особым способом приготовленных Галиной Ефимовной. Их изумительный, возможно, мне так только казалось, вкус я запомнила на всю жизнь. Зачастую приводила своих подруг-однокурсниц. Она угощала всех.

Вскоре в семью пришла большая радость: родился долгожданный сын Саша, наконец семья Кульчаевых получила настоящую, благоустроенную квартиру, что по тому времени было огромным событием. С годами Мехти Темиркановича стала посещать идея возвращения на родину, в Кабардино-Балкарию, в Нальчик, и куда, как он узнал, к тому времени стали возвращаться его родные, депортированные в 1944 году по приказу Сталина в Сибирь и Казахстан.

Галина Ефимовна не разделяла его планов, она аргументированно возражала: есть квартира, работа, вернулась из эвакуации родная сестра, племянники, которым она помогала и, наконец, мучала память об умерших, о пережитом, родные могилы.

Однако Мехти Темирканович уехал. Один. Его, партизана-героя, Кабардино-Балкария приняла охотно — Кульчаев получил престижную работу, квартиру в центре Нальчика.

Поразмыслив, Галина Ефимовна приняла решение переехать в Нальчик, воссоединить семью. А когда приехала, то застала мужа с другой женщиной. Он встретил свою первую, довоенную любовь. Брак распался. Не было шумного бракоразводного процесса, скандалов. И на этот раз мужество не покинуло ее. Разойдясь, они поддерживали дружеские отношения, в трудных жизненных ситуациях помогали друг другу.

В Нальчике Галина Ефимовна обрела новых друзей, знакомых, нашлась работа по душе. Подрастал сын. Умение быть полезной людям, разделять с ними их горести и радости, душевная отзывчивость помогали ей жить. Люди отвечали ей тем же.

Ежегодно, пока позволяли силы, она приезжала в Минск на празднование Дня Победы, участвовала в шествии ветеранов войны. В кругу друзей, бывших партизан, отмечала праздник, а, отпраздновав, возвращалась в уже ставший ей близким Нальчик.

Накануне предстоящего празднования юбилейного, кажется, 40-летия Дня Победы Галина Ефимовна позвонила мне в Минск. Она сообщила, что у нее родилась идея, которую поддержали и сослуживцы, и городские власти Нальчика — привезти в Узду на курган-захоронение, где покоятся ее родители и дети, живой памятник — две голубые кавказские ели.

— Сима, — объясняла она мне по телефону, — эти ели будут олицетворять моих погибших дочерей. Если бы их не убили, они могли бы стать такими же стройными, как эти вечнозеленые деревья.

Ее беспокоило, сумеют ли они прижиться, укорениться в белорусской земле, не будет ли для них слишком суров белорусский климат.

Она предварительно позвонила в Узденский райком партии и райком комсомола, сообщила время приезда, попросила встретить ее, помочь доставить ели неповрежденными к месту назначения. Она предупредила, что приезжает не одна — ее сопровождает группа сослуживцев и представители общественности города Нальчика, которые в знак глубокого уважения к Галине Ефимовне этим актом выражают свое искренне сострадание к ее трагической судьбе и к судьбе погибших в катастрофе.

Представители властей Узды обещали встретить ее и помочь.

Самолет приземлился в Минском аэропорту 8 мая 1985 года. К сожалению, в условленном месте встречавших не оказалось. Галина Ефимовна рассказывала, что всю ночь проплакала от боли и обиды. Ели, чтобы не засохли, в буквальном смысле она поливала своими слезами. В Узду, с елями, добирались самостоятельно, но и там возникли новые проблемы. На братском захоронении «за грэбляй» (так называют это место под Уздой) в одном из курганов покоятся останки узников узденского гетто, погибших в погроме 17 октября 1941 года. В другом кургане — останки евреев, не вставшихся в первом, там же захоронены и тела местных коммунистов и активистов, а в третьей могиле похоронены казненные партизаны и мирные жители — не евреи.

Галине Ефимовна — человек глубоко интернациональных взглядов, она никогда не делила людей по национальному признаку. И там, «за грэбляй» земля приняла, упокоила всех, независимо от национальностей. Но она точно знала где, в какой могиле лежат ее дети и родители. Она хотела посадить ели именно у этого захоронения.

И тут городские власти проявили власть — запретили ей сделать это. Чем они руководствовались? Какими нормами общественной морали и совести, сказать трудно, но предположить можно.

Ели разрешили высадить не у захоронения, а за его пределами, за оградой, которой обнесено братское кладбище, у входа. «Чтобы никому не было обидно», — пояснил представитель местной власти. Возможно, в этом решении и была своя логика, но очень больно и обидно было постичь ее Галине Ефимовне.

А голубые ели из Кабардино-Балкарии освоились в земле белорусской, росли и хорошели. Бывая в Узде, я непременно посещала это кладбище «за грэбляй» подходила к елям, мысленно обращалась к ним с приветствием, а, уходя, низко кланялась им. Из Минска я звонила Галине Ефимовне в Нальчик.

— Ты побывала в Узде? Как там мои елочки-девочки, с ними все в порядке, растут?

— С ними все в порядке, растут, кланяются вам, — отвечала я. И только после этого мы приступали к беседе о жизни, ее радостях и печалях.

Спустя несколько лет после той весны, когда были посажены ели, я приехала в Узду и, придя на братское кладбище, обнаружила потерю — вместо двух елей стояла одна.

— Где же вторая ель? — спросила я у проходящей мимо женщины, живущей в деревне неподалеку.

— Украли, — ответила она.

И вновь, как было заведено, я позвонила Галине Ефимовне. И вновь первый вопрос:

— Как там мои елочки-девочки, растут?

И я по инерции ответила:

— Растут, кланяются вам.

Я не смогла сказать ей правду. Осенью 2007 года, придя на могилы, я не поверила своим глазам. Не стало и второй ели.

— А где елочка? — вырвалось у меня

— Украві, нехрысці, — пояснил прохожий.

И вновь я по традиции позвонила Галине Ефимовне в Нальчик. И опять не смогла сказать правду.

В последние годы Галина Ефимовна тяжело болела, нуждалась в уходе. Сын забрал ее к себе. Она по-прежнему была щедра душой, доброжелательна, оптимистична, несмотря на одолевавшие ее болез-

ни. Во время нашего последнего телефонного разговора настойчиво просила меня приехать к ней в гости:

— Если ты приедешь, я даже рыбу фаршированную приготовлю.

Я так и не собралась ее навестить, за что горько корю себя. Она относилась ко мне по-особому, мне казалось, что теплее и сердечнее, чем к своим родным племянникам (я приходилась ей сводной племянницей). В последние дни жизни, мне рассказывали, она звала меня:

— Сима, где ты? Симочка, это ты? — обращалась она к родной племяннице Гене.

Прости меня, родная тетя Галя — Галина Ефимовна, что не было меня рядом с тобой в твои последние дни и часы.

МОЯ РИВА ЯКОВЛЕВНА

Когда я спрашивала у Ривы Яковлевны Гиммельштейн, какова степень нашего родства, она отвечала еврейской пословицей: «Майн бобе ун дайн зейдэ лыгун ин дрэрд бейдэ», что в переводе с идиша означает: «Моя бабушка и твой дедушка лежат в одной земле». Я так и не узнала и, к сожалению, теперь уже не узнаю, какова степень нашего родства. Рива Яковлевна скончалась в 2008 году в Америке, в возрасте 92-х лет. Впрочем, какое это имеет значение — подчас чужие люди становятся тебе ближе и дороже, чем самые близкие родственники.

Судьба нас свела в минском гетто.

Минское гетто... Это не плод художественного воображения, созданный, к примеру, Данте Алигьери, а реальный, конкретный ад. Там не всходит солнце, не светит луна. Солнцу и луне нет дела до того, что происходит за отторгнутой от внешнего мира рядами колючей проволоки частью города, именуемой гетто. А за его пределами — другой мир. Там светит солнце, ночью серебрится луна, улыбаются люди, играют дети. А те, кто загнан за колючую проволоку, повинны только в том, что родились евреями и по замыслу нацистов обречены на смерть. И все они, у кого не отключено сознание, знают, что каждый день, каждый час, каждый миг может стать для них последним. Не понимают этого только безумные и маленькие дети. Они не боятся смерти, ибо не понимают, что это такое.

Способы уничтожения узников гетто допускали варианты: от «банальных» расстрелов и использования «новых технологий», так называемых «газавто», или проще, душегубок, до голодомора — голодной смерти, что для прагматичных убийц было чрезвычайно выгодно — не надо ни пуль тратить, ни газ экономить.

Голод, постоянное чувство голода. Мир сузился до одного желания — утолить его. Голод, который съедает тебя, ты перестаешь быть человеком и, только избавившись от этого чувства, вновь сможешь обрести человеческий облик.

Тем узникам, кто с рабочими колоннами уходил за пределы гетто, полагался хотя бы черпак супа-бурды и ломтик эрзац-хлеба, состоящий наполовину из опилок и отрубей. Тем же, кто оставался в гетто — детям, старикам, больным — была уготована голодная

смерть. Специальным распоряжением узникам гетто запрещалось покупать продукты, приносить с собой то, что осталось от рабочего пайка, проносить добытые хлеб или картошку. Нарушивших распоряжение расстреливали. Но и в столь невыносимых условиях, обреченные на голодную смерть боролись за жизнь. На какие только уловки не шли несчастные, чтобы утолить мучительный голод. Я до сих пор ощущаю вкус и запах «фаршмака», приготовленного моей мамой из чудом добытых картофельных очисток, заправленных обжаренным в кухонном шкафчике довоенным прогорклым рыбьим жиром. Для нас это был деликатес...

Голодная смерть — это очень страшно. Голодной смертью умерла моя горячо любимая тетя Зелда, моя младшая сестренка Берточка, ей было 6 лет. Она тихо угасала, не понимая, что умирает.

Детская больница в гетто — это ад в аду. Я попала туда, когда от голода у меня развился тяжелый авитаминоз и, как следствие, — мучительный фурункулез: все тело покрылось нарывами. Я не могла ни лежать, ни сидеть, страшные боли мучили меня. Но нам, малолетним пациентам, врачи той больницы ничем не могли помочь — не было ни лекарств, ни еды.

Была зима 1943 года. К тому времени я уже была сиротой — 28 июля 1942 года в страшном погроме погибла мама с сестрой Ниночкой. Изможденная голодом и болезнью, я уже смирилась со своей судьбой. Понимала, что обречена, и меня ждет участь моих родных и соседей по палате.

И вдруг случилось чудо. В палату вошла молодая женщина и позвала меня по имени:

— Симочка, подойди ко мне, я тебе каши принесла. Меня зовут Рива, я твоя родственница.

Я не поверила своим глазам и ушам. Я подумала, что она ошиблась и зовет не меня. Но она обращалась именно ко мне. Кто ей рассказал обо мне и как она меня разыскала, я узнала много лет спустя. А тогда, в гетто, она приходила ко мне каждый день и приносила гречневую кашу-«размазню» и какие-то таблетки. Она спасала меня и спасла. Вскоре меня отпустили из больницы. Я, если можно так сказать, выздоровела.

В гетто встретиться нам больше не довелось. Мы потеряли друг друга в том водовороте жизни и смерти. Риве Яковлевне удалось уйти из гетто к партизанам, мне тоже посчастливилось выжить. Увиделись мы уже в послевоенном Минске. Судьба была к ней ми-

лосердна — она нашла свою единственную дочь, вернулся с войны муж.

Я часто думаю: как так происходило, что в страшном аду гетто, созданном разрушать все человеческое в человеке, появлялись удивительные люди — добрые, светлые, сострадательные. Наверное, по неписанным законам высокой морали им было предназначено добром и любовью уравнивать зло, жестокость и ненависть окружающего мира.

Рива Яковлевна относилась к таким светлым людям, украшающим род человеческий.

После войны мы встречались редко, но встречи эти были теплыми и желанными. Она, как всегда, необыкновенно гостеприимная, приглашала в гости, а если я по каким-либо причинам не могла откликнуться на приглашение, обижалась.

Ее естественное состояние — заботы и хлопоты о близких, о людях, которым необходимо помочь.

При какой-то случайной встрече Рива Яковлевна обронила на ходу, что ей очень нравятся стихи Изи Харика, она была им когда-то увлечена и восхищается его поэзией.

— Но, увы, судьба его горькая, — в слезах произнесла она.

При наших встречах, телефонном общении на вопрос, чем сегодня занимаетесь? — отвечала на идише:

«Их мах а мицве», — что в переводе означает, — «Творю благодеяние».

Прошла целая жизнь. В последний раз мы встретились в 1999 году в Америке, в Бостоне. Она принимала меня со свойственным ей гостеприимством. Сочла необходимым предупредить, что стол накрыт по-американски, с обязательной «туркой» (индейкой), но с привнесением элементов белорусской кухни — с квашеной капустой.

А когда она немного захмелела, то отозвала меня в сторону и с болью в голосе сказала:

— Я прочитала твои воспоминания. Читала и плакала. Но почему ты не вспомнила обо мне, не посвятила мне хотя бы несколько строк?

Я молчала. Мне нечего было сказать. Я виновата. Я обязана была это сделать.

Я писала воспоминания в 1991 году, второпях и не для публикации.

Я писала о том, что в тот момент и в тех обстоятельствах ложилось на бумагу. Естественно, многое, очень многое осталось за страницами книги. В том числе и моя дорогая Рива Яковлевна. Но она всегда была, есть и, пока я жива, будет в моем сердце.

В 2007 году, приехав в Америку в гости к дочери, я позвонила Риве Яковлевне. Разговор, к сожалению, проходил через посредника, ее дочь Любу. Моя спасительница была уже очень плоха, ей было трудно говорить со мной напрямую.

— А, Симочка приехала. Я рада. Скажи ей, Любочка, что я ее очень люблю.

Она умерла летом 2008 года, ей было 93 года.

Дорогая Рива Яковлевна, если сможешь, прости!

Литература:

Актуальные вопросы изучения Холокоста на территории Беларуси в годы немецко-фашистской оккупации. Сборник научных работ. Сост. и ред. Я.З. Басин. Минск, 2005. — 306 с.

Архив Хаси Пруслиной: Минское гетто, антифашистское подполье, репатриация детей из Германии / сост.: З.Д. Никодимова. Минск, 2010. — 150 с.

Ботвинник М. Памятники геноцида евреев Минска Памятники геноцида евреев Беларуси. — Минск: Бел. навука, 2000.

Выжить — подвиг: воспоминания и документы о Минском гетто / сост., предислов.: И.П. Герасимова, В.Д. Селеменев. Минск: НАРБ, 2008. — 166 с.: ил.

Давыдова Г.Р. От Минска до Ла-Манша, или Дорогами Холокоста: Док. повесть. Минск: Четыре четверти, 2000. — 232 с.: ил.

Жива... Да, я жива! Минское гетто в воспоминаниях Майи Крапиной и Фриды Рейзман. Материалы и док. / сост. М.И. Крапина, Ф.В. Рейзман. Выпуск другі. Минск: 2005. — 258 с. +26 с.: ил.

Иоффе Э. Г. Белорусские евреи: трагедия и героизм: 1941—1945. Минск, 2003.

Когда слова кричат и плачут: Дневники Ляли и Берты Брук. — Минск, 2004.

Левина-Крапина М.И. Трижды рожденная. Воспоминания бывшей узницы Минского гетто. Минск, 2008. — 148 с.

Марголина С.М. Остаться жить. — Минск: Натако, 1997. — 67 с.
Мінскае гета 1941—1943 гг.: Трагедыя. Гераізм. Памяць. Матэр. міжнар. навук. канф. 24 кастр. 2003 г., Мінск. Адк. рэд. В.Ф. Балакіраў, К.І. Козак. Минск, 2004. — 208 с.

Праведники народов мира Беларуси / сост. И.П. Герасимова, А.Л. Шульман. Минск: ОДО «Тонгпик», 2004. — 164 с.

Праведники народов мира: живые свидетельства Беларуси / составители: Козак К.И., Крапина М.И. [и др.]. Под ред. Балакирева В.Ф., Козака К.И. Минск, 2009. — 292 с.

Рубинштейн Л. Они спасли мир. На русском и английском языках. Минск, 2006. — 107 с.

Смиловицкий Л. Катастрофа евреев в Белоруссии, 1941—1944 гг. Тель-Авив, 2000.

Смоляр Г. Мстители гетто. М., 1947.

Спасенная жизнь: жизнь и выживание в Минском гетто / Сост.: В.Ф. Балакирев и др. Минск, 2010.

Трейстер Михаил. Проблески памяти. Воспоминания, размышления, публикации. Schimmer vom Gedächtnis... Erinnerungen, Überlegungen und Publikationen. Отв. ред. К.И. Козак. Минск, 2007. — 242 с.

Хеккер Клара. Немецкие евреи в Минском гетто. Отв. ред. К.И. Козак. Пер. с нем. Г.А. Скакун. Минск, 2007. — 154 с.

Холокост в Беларуси. 1941—1944. Документы и материалы. Минск, 2002;

Холокост на территории СССР: Энциклопедия / Гл. ред. И.А. Альтман. М.: Российская политическая энциклопедия: Научно-просветительный центр «Холокост», 2009. — 1143 с.

Judenfrei! Свободно от евреев!: История мин. гетто в док. / [Авт.-сост. Р. А. Черноглазова]. — Минск: Асобны дах, 1999. — 395 с.

«Existiert das Ghetto noch?» Weißrussland: Jüdisches Überleben gegen nationalsozialistische Herrschaft. Berlin, 2003.

Hamburger jüdische Opfer des Nationalsozialismus. Gedenkbuch. Hamburg, 1995.

Loewenstein K. Minsk, im Lager der deutschen Juden. Bonn, 1961.

Orte der Vernichtung in Belarus: die Geschichte des Vernichtungslagers Trostenez und des Ghettos Minsk. Dortmund, 2003.

Rosenberg H. Jahre des Schreckens. ...und ich blieb übrig, das ich Dir's ansage. Göttingen, 1985.

Художественное издание

Сима Марголина

Остаться жить

2-е издание, исправленное и дополненное

Подписано в печать 10.05.2010. Формат. 70×100

Бумага офсетная. Гарнитура «SchoolBookC». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 11.03 Уч.-изд. л. 5.79

Тираж 300 экз. Заказ 1678.

Издатель И.П. Логвинов

ЛИ №02330/0494468 от 08.04.2009.

Пр-т Независимости, 19-5, 220050, г. Минск.

Отпечатано ОДО «НоваПринт».

ЛП 02330/0150476 от 25.02.2009.

ул. Купревича, 2, 220141, г. Минск.